



ФОТ. П. ПАВЛОВА.

ОБРАЗЪ
Казанской Божьей Матери.

Родовая икона Вишняковыхъ.

У 382
36

Свѣдѣнія

о купеческомъ родѣ

ВИШНЯКОВЫХЪ

(съ 1848—1854 г.),

СОБРАННЫЯ

Н. Вишняковымъ.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
и послѣдняя.

ПОГАИНО
Вишняковы



МОСКВА.
Типографія Г. Лиснера и Д. Собко.
Воздвиженка, Крестовозвиж. пер., д. 9.
1911.



Τὸ αἶμα νερό δὲν γένηται.

Греческая поговорка.

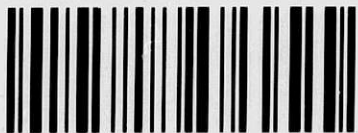
On est fort, quand on se soutient dans les familles et les parentés, et on est toujours la dupe et la proie de s'abandonner, c'est ce qui se voit et se sent tous les jours avec un dommage irréparable.

Mémoires du duc de Saint-Simon.



26243-26

Запрет. нем. пис.



2011094265

Памяти моей матери Анны Сергеевны Вигиняковой.

Это было давно, въ концѣ 1850-хъ годовъ, но мнѣ кажется, будто это происходило вчера. Я былъ еще почти ребенкомъ. Мы жили уже не въ отцовскомъ домѣ, а въ домѣ моей матери. Сидимъ мы съ нею вдвоемъ въ сумерки въ ея любимой комнатѣ — гостиной съ темно-малиновыми обоями. Стемнѣло, но свѣтъ еще не зажигали — старинныхъ сальныхъ свѣтъ, нагаръ которыхъ снимался щипцами; только изъ спальни матери, чрезъ полуоткрытую дверь, проникаетъ мягкій свѣтъ лампы. Мать моя сидитъ у окна, выходящаго на Большую Якиманку; черты ея лица уже потеряли определенность очертаній, и тихая рѣчь ея звучитъ слово нѣчто самостоятельное, изъ сгустивагося сумрака. Я прикорнулъ противъ нея на креслѣ и — слушаю.

О чемъ она говорила? Она говорила о томъ, о чемъ любятъ говорить люди, у которыхъ нѣтъ будущаго — о старинѣ. Картины давнопрошедшаго времени ярко рисуются въ ея представленіи, гораздо ярче, чѣмъ современность. Жизнь-воспоминаній усиливается у нея тою сосредоточенностью, которая свойственна людямъ, одержимымъ глухотою.

Какія же это были воспоминанія? О, кругозоръ ихъ не былъ обширенъ. Тутъ не могло быть рѣчи о міровыхъ вопросахъ или событіяхъ. Въ нашей средѣ интересы общественные были слабо развиты, а политическихъ и вовсе не существовало. Крымская война прогремѣла грознымъ, но мало понятнымъ для насъ громомъ;

подготавливалось освобождение крестьянъ, сильно волновавшее только дворянскіе круги; толковали о гласномъ судѣ; гдѣ-то далеко совершалось многозначительное объединеніе Италіи при помощи французскихъ штыковъ... Все это насъ затрогивало мало. О правительствѣ и всемъ томъ, что могло имѣть къ нему отношеніе, старшіе говорили съ оглядкой, шопотомъ, отклоняя не въ мѣру любопытствующіе вопросы молодежи замѣчаніями въ родѣ: «Много будешь знать, скоро состаришься». Всякіе политическіе слухи и новости имѣли для обывателей Большой Якиманки гораздо меньше значенія, чѣмъ кончина какого-нибудь именитаго прихожанина, свадьба мѣстной дѣвицы съ хорошимъ приданымъ или рожденіе первенца въ родственной семьѣ. Интересы не шли дальше тѣснаго круга родныхъ и знакомыхъ, касаясь только въ рѣдкихъ случаяхъ города. Зато больше вникали въ родственныя отношенія и ими больше дорожили. Это было естественно и неизбежно.

Итакъ, вотъ о чѣмъ повѣствовала мая мать — о нашихъ старыхъ семейныхъ дѣлахъ. Тутъ было все: житейскія комедіи и драмы, мелочи и важныя событія, случайныя происшествія и характерныя бытовыя черты, исторіи родныхъ, которыхъ я зналъ лично, и такихъ, о которыхъ я не имѣлъ понятія, потому что ихъ давно не было на свѣтѣ. Она такъ подробно говорила о нихъ, что они и мнѣ казались не только знакомыми, но и близкими. И всѣ эти рассказы, каково бы ни было ихъ содержаніе и значеніе, носили общій характеръ: они были согрѣты неподдѣльнымъ семейнымъ чувствомъ, сознаніемъ важности родственныхъ связей и ихъ необходимости. Родовое чувство проходило чрезъ нихъ красной нитью.

Мать моя была олицетвореніемъ родственнаго начала, какъ его понимали въ старину. Она любила родню и дорожила ею. Въ ея точкѣ зрѣнія могло быть много наивнаго и устарѣлаго, были и противорѣчія, но корень чувства былъ глубокой и здоровый. Я началъ слушать ея рассказы механически, подросткомъ, когда еще не отдавалъ себѣ отчета въ переживаемыхъ впечатлѣ-

ніяхъ. Для меня это были сказки, подобныя тѣмъ, какія бывало рассказывали мнѣ разныя заходяшія старушки, только въ другомъ родѣ, поскучнѣе. Конечно, мнѣ тогда и въ голову не приходило записывать ея слова, о чѣмъ я очень жалею, потому что такимъ образомъ потеряно много семейныхъ воспоминаній. Впоследствии, когда я спохватился, было поздно: тогда и разговоры наши уже не были такъ непосредственны и продолжительны, да и мать моя сама многое перезабыла...

Какъ бы то ни было, старая бѣсѣда съ моей матерью заложила во мнѣ то чувство, подѣ вліяніемъ котораго я принялся за эти страницы. Пусть же онѣ будутъ посвящены памяти той, которая была ихъ вдохновительницей!...

Санъ-Ремо. Мартъ, 1907 г.

ВМѢСТО ВСТУПЛЕНІЯ.

Третья и послѣдняя часть этого труда посвящена тому времени, съ которымъ совпало мое дѣтство. Я росъ не только въ томъ же домѣ, гдѣ провелъ большую часть жизни мой отецъ, но и при неизмѣнившейся еще старинной обстановкѣ купеческой семьи Николаевской эпохи, — обстановкѣ, которой мои воспоминанія могутъ служить и комментариемъ, и естественнымъ эпилогомъ. Случилось такъ, что съ послѣдними годами моего дѣтства совпало и распаденіе нашей семьи на отдѣльныя вѣтви. Старый строй умиралъ у меня на глазахъ, и ему никогда болѣе не возвратиться. Порядки, которые постепенно водворялись на его мѣстѣ, могли считаться, смотря по взгляду, лучше или хуже старыхъ, но они были несомнѣнно иные. Жизнь измѣнялась понемногу до неузнаваемости. Для меня, свидѣтеля и участника этой перемѣны, процессъ ея особенно поучителенъ, и мнѣ хотѣлось закончить мой трудъ, запечатлѣвши на память черты стараго быта, поскольку онѣ были доступны моей дѣтской наблюдательности или стали мнѣ извѣстны по позднѣйшимъ рассказамъ.

Я долго колебался, печатать ли мнѣ эту часть «Свѣдѣній». Она, по необходимости, носитъ такой личный характеръ, что можетъ назваться моей автобіографіей. Цѣлью моей было описаніе общаго строя нашей жизни, но воспоминанія объ немъ такъ сплелись съ моими личными переживаниями, что отдѣлить одно отъ другого временами оказалось очень трудно, если не невозможно. Осталось много подробностей чисто субъективныхъ, которыя вычеркнуть я не рѣшился или не сумѣлъ. Прошу въ этомъ извиненія у читателя.

I.

Духовное завѣщаніе моего отца.

Потеря главы и руководителя имѣетъ всегда важное значеніе въ жизни семейства. Часто послѣ этого наступаетъ рѣшительный и быстрый переворотъ во всей его дальнѣйшей судьбѣ. Подъ вліяніемъ новыхъ условій заявляютъ себя новые взгляды, иногда діаметрально противоположные старымъ, новые вкусы и стремленія, способные въ корнѣ измѣнить прежній укладъ быта. У насъ такая перемѣна произошла не сразу: прошло нѣсколько лѣтъ, прежде нежели семья распалась.

Данныхъ для этого было достаточно. Прежде всего уже не было налицо когда-то строгаго, сдерживающаго отцовскаго авторитета, объединявшаго въ себѣ интересы всѣхъ членовъ семьи; распорядительная власть перешла въ другія руки, менѣе компетентныя, а слѣдовательно и болѣе слабыя, и при этомъ не могла не измѣнить направленія; молодое поколѣніе, подрастая, начинало предъявлять свои требованія; слагались новые характеры; опредѣлялись симпатіи и антипатіи, раньше едва намѣчавшіяся. Эволюція совершалась медленно въ тиши домашней будничной жизни. Только развѣ отъ очень внимательнаго глаза могло не ускользнуть это неслышное броженіе жизненныхъ силъ, искавшихъ исхода и удовлетворенія; посторонній наблюдатель могъ думать, что мы продолжаемъ жить точь въ точь, какъ при отцѣ, по старинѣ, безъ всякихъ новшествъ. Особенно мало перемѣны произошло въ отношеніяхъ къ внѣшнему міру, къ роднымъ, къ обществу.

Причина тому заключалась въ завѣщательныхъ распоряженіяхъ отца.

Предсмертной его волей было, чтобы члены семьи не раздѣлялись, продолжали жить вмѣстѣ, дружно. Это было важно

и для созданнаго имъ дорогого ему торговаго дѣла, которому онъ желалъ процвѣтанія наравнѣ съ процвѣтаніемъ всего семейства. Скованные крѣпкой цѣпью взаимности, оба интереса были одинаково существенны и солидарны въ его дѣловомъ представленіи. Но онъ былъ слишкомъ уменъ, чтобы не понимать, что желаніе его не можетъ рассчитывать на продолжительный и безусловный успѣхъ и что жизнь можетъ рано или поздно заявить свои права, независимыя отъ его взглядовъ. Наслѣдниками послѣ него являлись двѣ семьи, отличавшіяся значительно и по возрасту, и по развитію. Оба представителя старшаго поколѣнія успѣли уже вылиться въ старинныя купеческія формы, а представители младшаго не представляли изъ себя ничего опредѣленнаго; нѣкоторые изъ нихъ были еще такъ молоды, что нельзя было и гадательно сказать, что изъ нихъ выйдетъ. Контрастъ между обоими поколѣніями подчеркивался наличностью моей матери, естественной представительницы и покровительницы интересовъ собственныхъ дѣтей, несовершеннолѣтнихъ, нуждавшихся въ ея защитѣ въ случаѣ какихъ-либо семейныхъ недоразумѣній. Кромѣ того, отъ проницательнаго взгляда отца не могли укрыться и шероховатости, уже существовавшія между нѣкоторыми членами его семьи. Все это отразилось въ его духовномъ завѣщаніи. Выражая весьма опредѣленное желаніе, чтобы семья не дробилась по крайней мѣрѣ до поры до времени, отецъ, однако, точно указалъ и тотъ путь, какимъ должны слѣдовать наслѣдники его, чтобы въ случаѣ необходимости правильно подѣлить между собою оставляемое имъ имущество.

Главный пунктъ его посмертныхъ распоряженій заключался въ томъ, чтобы *въ теченіе шести лѣтъ* послѣ его кончины никакихъ существенныхъ переменъ ни въ семейномъ, ни въ дѣловомъ быту не происходило. Все его потомство обязано было жить „безраздѣльно вмѣстѣ въ одномъ семействѣ“. Раздѣла никто не имѣлъ права требовать „ни подъ какимъ предлогомъ“; также нельзя было ничего ни продать, ни заложить до шестилѣтняго срока.

Два старшіе сына уполномочивались продолжать торговлю съ возложеніемъ на нихъ обязательства „пріобучать къ торговлѣ“ и прочихъ сыновей. Желаніе предупредить быстрое распаденіе семьи и удержать ея членовъ вмѣстѣ подѣ авто-

ритетомъ моей матери и двухъ старшихъ сыновей выражено такъ опредѣленно, что по адресу послѣднихъ была особая статья завѣщанія, грозившая имъ опалой въ случаѣ ослушанія. „Если бы кто-нибудь изъ старшихъ сыновей, Иванъ или Семенъ, *противъ воли моей*, не пожелалъ жить и торговать вмѣстѣ въ теченіе шести лѣтъ, то выдать ему только 15.000 рублей... и болѣе не выдавать ему ничего изъ имѣнія, и онъ не вправе требовать“. Только по истеченіи шести лѣтъ члены семьи имѣли право приступить къ раздѣлу всего движимаго и недвижимаго имущества. Раздѣлъ долженъ быть произведенъ между моей матерью и шестерыми сыновьями „по равнымъ частямъ безобидно“.

Душеприказчиками назначены были: моя мать, старшій сынъ Иванъ, мѣсто котораго въ случаѣ его смерти заступалъ второй сынъ Семенъ, и Владиміръ Семеновичъ Алексѣевъ. Какъ уважалъ отецъ послѣдняго, видно изъ особой статьи завѣщанія, гдѣ говорится: „Въ случаѣ какихъ-либо неудовольствій обращаться къ совѣтамъ душеприказчика Владиміра Семеновича Алексѣева и подчиняться его рѣшеніямъ безъ дальнѣйшаго судопроизводства“.

Такимъ образомъ шестилѣтній періодъ, непосредственно слѣдовавшій за смертью моего отца, является отчасти естественнымъ, отчасти насильственнымъ продолженіемъ того склада жизни, который поддерживался десятки лѣтъ. Всѣ существенныя особенности его остались. Какихъ-нибудь внѣшнихъ причинъ, которыя могли бы косвенно повліять и вызвать переменъ, не было. Новыхъ вѣяній въ то время не полагалось, и Николаевское царствованіе близилось къ концу среди той удушливой атмосферы, которая воцарилась въ нашемъ отечествѣ послѣ европейскихъ потрясеній 1848—49 годовъ и разрѣшилась грозой Крымской войны. Съ этой эпохой, какъ разъ, и соединено пробужденіе моего дѣтскаго самосознанія. Моей зародившейся наблюдательности прежде всего представились картины нашего тѣснаго семейнаго мірка, и, запоминая ихъ, я, самъ того не замѣчая, знакомился со стариннымъ складомъ жизни нашего семейства, складомъ, котораго корни восходили прежде всего къ отцу, а затѣмъ терялись въ самомъ отдаленномъ прошломъ. Мнѣ пришлось еще быть очевидцемъ того, что обречено было на постепенное исчезновеніе и забвеніе. Этими шестью го-

дами завершается цѣлый періодъ въ исторіи нашего семейства, который можно назвать *отцовскимъ*, въ память о главномъ его представителѣ (см. Приложение I).

II.

Отцовскій домъ.

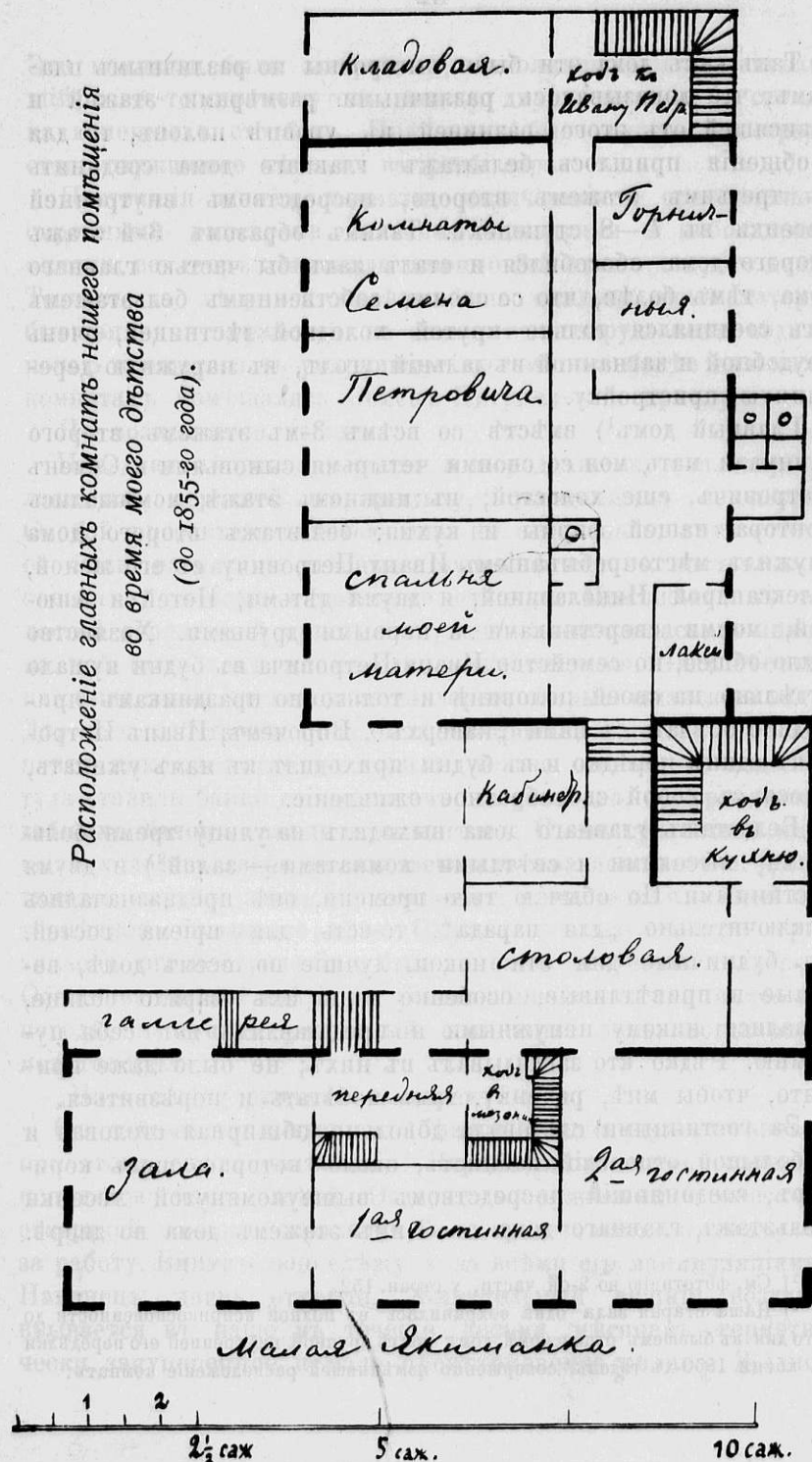
Владѣніе на Малой Якиманкѣ, въ которомъ жилъ съ своей семьей отецъ, было имъ приобретено послѣ французскаго нашествія, въ 1814 году, у своего зятя Семена Алексѣевича Алексѣева¹⁾. Въ купчей сказано, что Алексѣевъ продалъ отцу „обгорѣлую бѣлую землю съ оставшимся на ней каменнымъ строеніемъ“. Такъ какъ земля горѣть не можетъ, то эпитетъ „обгорѣлая“ слѣдуетъ отнести къ строенію; извѣстно документально и изъ другого источника, что оба Алексѣевскіе дома въ 1812 году сгорѣли²⁾. Надо однако думать, что они не очень пострадали отъ пожара, и что стѣны остались прочными, благодаря толщинѣ и старинной исправной кладкѣ, потому что отецъ счелъ возможнымъ отремонтировать оба дома, ничего не ломая. Въ домѣ, выходящемъ на Малую Якиманку, поселился самъ отецъ, а въ домѣ во дворѣ устроилъ фабрику. Такъ, помнится, мнѣ передавали въ дѣтствѣ. Съ ростомъ семьи жилой домъ сталъ становиться тѣснымъ. Пришлось фабрику перевести въ новое помѣщеніе, по ту сторону Полянскаго переулка, и соединить оба дома пристройкой. Когда это произошло, мнѣ неизвѣстно, во всякомъ случаѣ гораздо ранѣ моего появленія на свѣтъ, потому что и въ воспоминаніяхъ моихъ братьевъ занимаемое нами помѣщеніе представлялось всегда такимъ, какимъ я его знавалъ.

Итакъ, отцовскій домъ, въ которомъ намъ всѣмъ предстояло неразрывно жить еще не менѣ шести лѣтъ, состоялъ собственно изъ соединенія двухъ каменныхъ зданій: передняго, главного, двухъэтажнаго съ мезониномъ, выходившаго на Малую Якиманку, и задняго трехъэтажнаго, стоявшаго во дворѣ.

¹⁾ См. Приложение ко 2-й части подъ литерой Н на стран. 21-й, гдѣ помѣщенъ и планъ.

²⁾ См. письмо Якова Саломатова на стран. 13-й Приложеній ко 2-ой части.

Расположеніе главныхъ комнатъ нашего помѣщенія
во время моего дѣтства
(до 1855-го года).



Такъ какъ дома эти были выстроены по различнымъ планамъ, что доказывалось различными размѣрами этажей и зависящей отъ этого разницей въ уровнѣ половъ, то для сообщенія пришлось бельэтажъ главнаго дома соединить съ третьимъ этажемъ второго, посредствомъ внутренней лѣсенки въ 7—8 ступенекъ. Такимъ образомъ 3-й этажъ второго дома обособился и сталъ какъ бы частью главнаго дома, тѣмъ болѣе, что со своимъ собственнымъ бельэтажемъ онъ соединялся только крутой холодной лѣстницей, очень неудобной и загнанной въ дальній уголъ, въ наружную деревянную пристройку.

Главный домъ¹⁾ вмѣстѣ со всѣмъ 3-мъ этажемъ второго занимали мать моя со своими четырьмя сыновьями и Семенъ Петровичъ, еще холостой; въ нижнемъ этажѣ помѣщались контора нашей фирмы и кухня; бельэтажъ второго дома служилъ мѣстопребываніемъ Ивану Петровичу съ его женой, Александрой Николаевной, и двумя дѣтьми, Петей и Анютой, моими сверстниками и первыми друзьями. Хозяйство было общее, но семейство Ивана Петровича въ будни кушало отдѣльно на своей половинѣ и только по праздникамъ приходило обѣдать съ нами „наверхъ“. Впрочемъ, Иванъ Петровичъ одинъ нерѣдко и въ будни приходилъ къ намъ ужинать, внося съ собой своеобразное оживленіе.

Бельэтажъ главнаго дома выходилъ на улицу тремя большими, высокими и свѣтлыми комнатами — залой²⁾ и двумя гостинными. По обычаю того времени, онѣ предназначались исключительно „для парада“, то-есть, для приѣма гостей. Въ будничные дни эти покои, лучшіе во всемъ домѣ, веселые и привѣтливые, особенно когда ихъ озаряло солнце, казались никому ненужными и представляли изъ себя пустыню. Рѣдко кто заглядывалъ въ нихъ; не было даже принято, чтобы мнѣ, ребенку, тамъ побѣгать и порѣзвиться.

За гостинными слѣдовала довольно обширная столовая и небольшой отцовскій кабинетъ, около котораго шелъ коридоръ, соединявшій посредствомъ вышеупомянутой лѣсенки бельэтажъ главнаго дома съ 3-имъ этажемъ дома во дворѣ.

¹⁾ См. фототипію во 2-ой части, у стран. 152.

²⁾ Наша старая зала одна сохранилась въ полной неприкосновенности до сего дня въ бывшемъ отцовскомъ домѣ послѣ крупной внутренней его передѣлки въ концѣ 1850-хъ годовъ, совершенно измѣнившей расположеніе комнатъ.

Эти комнаты были застройкой, заполнявшей существовавшій когда-то промежутокъ между двумя домами, и стояли на каменныхъ столбахъ. Подъ ними было пустое пространство, служившее чѣмъ-то въ родѣ сарая.

Настоящія жилыя комнаты, отличавшіяся сравнительно скромными размѣрами, низкими потолками и небольшими окнами во дворѣ, занимали именно 3-й этажъ второго дома. Тотчасъ за лѣсенкой налѣво была спальня моей матери, бывшая ея супружеская, та самая, въ которую меня водили ночью прощаться съ умиравшимъ отцомъ; въ болѣе дальнихъ комнатахъ помѣщались Семенъ Петровичъ и прислуга.

Но возвратимся назадъ.

Парадная лѣстница, прямая и порядочно крутая, спускалась изъ передней къ крыльцу, выходившему во дворъ. Особой презентабельностью она не отличалась, хотя стѣны ея были расписаны лѣсными ландшафтами съ пастушками, овечками, оленями и райскими птицами. Помѣщаясь въ холостой деревянной пристройкѣ, она не отапливалась, и зимой на ней было такъ же холодно, какъ снаружи. Надъ лѣстницей была такая же холодная галлерея, открывавшаяся въ залу. Для чего, собственно, она была выстроена, я не знаю: въ нее почти никогда никто не ходилъ, только осенью, не надолго, туда ставили банки съ вареньемъ, да раза два, во время свадебныхъ баловъ, сажали музыкантовъ. Съ наступленіемъ первыхъ холодовъ дверь въ галлерею замазывалась наглухо. Долго тянется скучная зима, но, наконецъ, приходитъ и всегда нетерпѣливо ожидаемое лѣто. Однимъ изъ наглядныхъ признаковъ его наступленія и была, именно, откупорка галлереи. Обыкновенно въ маѣ, при установившейся ясной и теплой погодѣ, наступалъ радостный солнечный день, когда мать моя говорила:

„Надо нынче открыть галлерею!“

Съ какимъ наслажденіемъ бѣжалъ я тогда присутствовать при этомъ священнодѣйствіи! Передъ входомъ въ галлерею появлялся нашъ лакей Федоръ, вооруженный стамеской, отверткой, ножомъ, тряпками, и сосредоточенно принимался за работу. Внимательно слѣжу я за всѣми его манипуляціями. Наконецъ, дверь открыта. Живительный вѣтреннѣйшій воздухъ врывается въ наше въ теченіе восьми мѣсяцевъ герметически закупоренное и мало провѣтриваемое жилище. Жадно.

полной грудью вдыхаю я эту волшебную струю. Какой миръ неясныхъ грезъ и сладкихъ мечтаній приносила она съ собою въ мою дѣтскую голову?!

Парадные комнаты украшались стеклянными шкапами съ полками, на которыхъ разставлено было немало вещей, цѣнныхъ по воспоминаніямъ, — тѣхъ иногда дорогихъ бездѣлушекъ, которыя имѣли историческое отношеніе къ жизни ихъ владѣльцевъ. Среди раззолоченныхъ чашекъ, расписанныхъ табакерокъ, тѣхъ маленькихъ флакончиковъ, которые когда-то на цѣпочкахъ носились дамами на мизинцѣ лѣвой руки, вѣровъ слоновой кости, бронзовыхъ куриленъ разныхъ формъ, хрустальныхъ, узкихъ съ густой позолотой кубковъ для цвѣтовъ и букетовъ и другихъ предметовъ были подарки и подношенія родныхъ и близкихъ лицъ, давно отошедшихъ въ вѣчность.

Въ первой гостиной стояли большіе англійскіе часы Benjamin Ward съ механикой. Фасадъ ихъ представлялъ сельскій видъ съ вѣтряной мельницей, водопадомъ, рѣкою и мостомъ. Нѣсколько разъ на дню часы передъ боемъ играли музыкальныя пьесы, при чемъ все приходило въ движеніе: мельница вертѣла крыльями, водопадъ струился, рѣка текла, плыли лебеди, а по мосту шли пѣшеходы и ѣхали верховые. Эта занятная игрушка была первымъ предметомъ моихъ дѣтскихъ восторговъ. Мнѣ смутно припоминается, словно сквозь сонъ, что еще отецъ меня подносилъ къ ней на рукахъ. Во второй гостиной, надъ большимъ диваномъ, висѣли большіе масляные портреты моего отца и его первой супруги.

Дѣтская жизнь рѣдко отличается разнообразіемъ. Да тогда и не заботились такъ о *развлеченіи* дѣтей, какъ теперь, и на примѣръ, въ теченіе всего описываемаго здѣсь времени, меня ни разу не возили въ театръ. Жизнь моя протекала спокойно и ровно среди привычной обстановки, остававшейся неизмѣнной изо дня въ день, изъ года въ годъ. Поэтому хронологія въ моихъ воспоминаніяхъ не играетъ никакой роли. Въ памяти осталась лишь общая картина, а какая подробность ея запечатлѣлась раньше, какая позже, для меня трудно бы было установить безъ постороннихъ справокъ.

Дѣтская моя помѣщалась въ мезонинѣ, на высотѣ третьяго этажа, и выходила на Малую Якиманку двумя окнами, изъ

которыхъ открывался великолѣпный видъ на всю восточную окраину Москвы. На переднемъ планѣ, за каменными стѣнами и тесовыми заборами, виднѣлись сады со старыми липами, доставлявшими гостепріимный пріютъ стаямъ галокъ и воронъ, свивавшихъ на толстыхъ сучьяхъ просторныя гнѣзда тѣмъ болѣе безпрепятственно, что движеніе и вѣзда по нашей Малой Якиманкѣ были такъ незначительны, что забывалась ея близость къ улицамъ болѣе люднымъ и шумнымъ. Изъ зелени кое-гдѣ проглядывали крыши и верхніе этажи невысокихъ домовъ и прихотливыя верхушки бесѣдокъ. За ними видна была Большая Полянка съ двигавшимися по ней экипажами и пѣшеходами. За нею вдаль уходила безконечная панорама церквей, зданій и садовъ. На крайней лѣвой сторонѣ, какъ на ладони, возвышался Кремль съ своими башнями, соборами и дворцами. Въ царскіе дни, когда палили изъ пушекъ съ Тайницкой башни, я любилъ, бывало, слѣдить, какъ сперва появится клубокъ дыма, а затѣмъ уже, чрезъ извѣстный промежутокъ времени, грянетъ шумъ выстрѣла. Въ пріѣзды царской фамиліи можно было слѣдить въ бинокль, какъ чернѣла и колыхалась толпа народа передъ большимъ дворцомъ.

Легкая тесовая перегородка отдѣляла мою дѣтскую отъ сосѣдней комнаты, гдѣ братъ Миша устроилъ себѣ „библіотеку“. Составляли эту библіотеку книги, случайно пріобрѣтенныя у Карла Ивановича; онѣ были красиво разставлены на простыхъ садовыхъ зеленыхъ этажеркахъ и не имѣли, кажется, никакого другого значенія, кромѣ декоративнаго.

Небольшой коридоръ, упиравшійся съ обѣихъ сторонъ въ чердакъ, отдѣлялъ дѣтскую и библіотеку отъ двухъ подобныхъ же комнатъ, выходившихъ окнами на противоположную сторону. Видъ отсюда былъ некрасивъ: на крышу нашего второго дома, на дворъ съ садомъ и переулокъ, вдоль котораго тянулся двухъэтажный корпусъ нашей фабрики. Даль была заслонена домами. Въ этихъ комнатахъ жили братья мои, Миша и Володя, первый на 9, второй на 12 лѣтъ старше меня. Для меня было большимъ удовольствіемъ забраться къ нимъ въ ихъ отсутствіе и разсматривать новыя для меня предметы: мебель, часы, книги, а также развѣшанныя по стѣнамъ картинки, литографіи и оружіе. Братья этого не долюбливали, и въ этомъ духѣ была преподана инструк-

ція мой нянь. Они были правы: одинъ изъ моихъ набѣговъ могъ кончиться для меня большой бѣдой. Няня не доглядѣла, и я, пробуя открыть большой тугой охотничій ножъ, чуть было не перерубилъ себѣ пополамъ мизинецъ.

Изъ мезонина внизъ вела высокая и крутая лѣстница, памятная мнѣ тѣмъ, что я леталъ по ней неоднократно и однажды даже вывихнулъ себѣ руку.

При домѣ былъ порядочный садъ и дворъ съ баней, кладовой, сараемъ и конюшней. Мы держали тогда лошадей пять: одну парадную выѣздную пару, пару другую попроче и одиночку. Бани представляла небольшой деревянный домикъ между садомъ и переулкомъ, но на моей памяти ею пользовались рѣдко, потому ли, что она была ветха или потому, что было признано болѣе удобнымъ ѣздить въ бани общественныя. Помню, какъ меня, еще очень маленькаго, мыли въ кухнѣ, на русской печи, но потомъ мать стала меня брать съ собой въ общія женскія бани. Однажды это вызвало протестъ со стороны другихъ посѣтительницъ, находившихъ, что такого большого мальчика не годится пускать въ ихъ сообщество, и съ тѣхъ поръ пришлось прекратить эти посѣщенія. Мнѣ было тогда лѣтъ 8.

III.

Къ характеристикѣ моей матери.

Въ воспоминаніяхъ этого времени первое мѣсто по справедливости должно принадлежать моей матери.

Я остался у нея на рукахъ почти младенцемъ, на ея глазахъ выросъ и возмужалъ, такъ какъ она на сорокъ лѣтъ пережила отца. Мы съ нею вмѣстѣ долго жили, вмѣстѣ пережили много общихъ впечатлѣній, вмѣстѣ много переживали. Я ее очень любилъ, хотя, думается, гораздо меньше, чѣмъ она того заслуживала: дѣти, вѣдь, всѣ — большіе эгоисты и мало способны цѣнить привязанность родителей, если она не выражается непосредственно въ удовольствіи ихъ капризовъ и прихотей. Я въ этомъ случаѣ не составлялъ исключенія. Но тогда я мало зналъ ее. Только впоследствии, мало-по-малу, получивъ понятіе о томъ духовномъ процессѣ, подъ вліяніемъ котораго сложился ея харак-

теръ, я понялъ, что она для меня значила и чѣмъ я ей былъ обязанъ.

Жизнь рано заставила мою мать быть серьезной. Вышедши замужъ 16 лѣтъ, она должна была сразу стать въ положеніе матроны и полноправной хозяйки. Съ самаго начала судьба вручила на ея попеченіе четверыхъ чужихъ дѣтей, о которыхъ ей пришлось заботиться въ теченіе шести лѣтъ. Затѣмъ пошло собственное потомство, а съ появленіемъ его, вмѣстѣ съ новыми заботами, явились всѣ обычныя данныя для антагонизма двухъ семей. Ей удалось выйти изъ этого испытанія съ честью. Относясь съ одинаковымъ вниманіемъ къ падчерицамъ и пасынкамъ, какъ и къ собственнымъ дѣтямъ, она поддержала и сохранила надолго въ домѣ отца миръ и согласіе. Ей помогли въ этомъ ясный умъ и счастливый характеръ. Обладая отъ природы трезвымъ и положительнымъ взглядомъ на явленія жизни, она старалась не только разбираться въ нихъ въ интересъ семейства, сглаживать шероховатости, примирять крайности, но искала и уясненія причины явленій, старалась отнестись къ нимъ критически. Это дѣлало ее женщиной не совсѣмъ обыкновенной по тому времени. Не даромъ отецъ любилъ ее называть своей умной совѣтницей.

Мое вниманіе съ раннихъ поръ останавливала спокойная сознательность всѣхъ ея поступковъ. Казалось, она всегда въ точности знала, что и какъ ей дѣлать, безъ колебаній и недоумѣній, по крайней мѣрѣ наружныхъ. Всю жизнь она шла прямой дорогой, какъ-то легко и свободно, безъ душевной ломки, безъ напрасныхъ сожалѣній и праздныхъ мечтаній, несмотря на раннюю наклонность къ сентиментальности, несмотря даже на глубоко удручающую ее глухоту, отчуждавшую ее отъ общества. Однако, при ея отзывчивости, едва ли въ глубинѣ ея души было все и всегда уравновѣшено. Не мало сомнѣній и тревогъ пережила она, и если ея чувства не бросались въ глаза, то только благодаря ея умѣнью себя сдерживать. Въ ней было много такта. Еще ребенкомъ я понималъ, какъ она умѣла при случаѣ смолчать, намекнуть или подчеркнуть то, что хотѣла, и всегда въ мѣру, только тамъ, гдѣ нужно, и всегда въ сдержанной, отнюдь не оскорбительной формѣ. У нея совершенно отсутствовала злобная черта такъ называемыхъ свѣтскихъ дамъ, упражняющихся

постоянно въ сочиненіи колкостей по адресу своихъ блируга. Зато и привязана же была Лизавета къ своей нихъ, — тѣхъ ядовитыхъ шпилекъ, которыя иными принимаютъ спожѣ! Надо было видѣть ея безпокойство при малѣйшемъ за проявленія остроумія, образованности и свѣтскости. Надомоганіи барыни. Такъ и умерла Лизавета у насъ, не тѣмъ, что ей казалось смѣшнымъ, она весело подсмѣивалась,ходя отъ матери.

безъ всякаго оттѣнка злобы или зависти, а то, что ей казалась Переписка моей матери доказываетъ, что въ глубинѣ ея лось дурнымъ, она осуждала прямо и серьезно, иногда души многое смутно чувствовалось и бродило, какъ протестъ годуя. Она способна была сильно вспылить, однако грототивъ тѣхъ узкихъ условій существованія, въ какое продолжалась у нея недолго и никогда не влекла за собогавлена была наша семья. Она сознавала необходимость образлостныхъ послѣдствій для кого бы то ни было. Я не помнрванія и огорчалась, что обстоятельства не позволяютъ ей чтобы когда-нибудь, даже въ гнѣвѣ, она употребляла браннѣятельно вмѣшиваться въ жизнь. Кому, главнымъ образомъ, слова. Если мнѣ случалось чѣмъ-нибудь разсердить ее, онакъ не ей, обязанъ и пишущій эти строки своимъ образговорила въ сердцахъ:

„Какой ты глупый, я посмотрю, если не понимаешь, чтились не особенно довѣрчиво? При ея значеніи въ дѣлѣ тебѣ говорятъ“.

Вотъ и все. Ни разу не случилось, чтобы она примѣнило почти непреодолимая преграды и направить всю мою жизнь ко мнѣ строгія мѣры воздѣйствія во вкусъ того времени другой путь. Тѣмъ болѣе, что были люди, которые толкали она была настроена принципиально противъ нихъ, чѣмъ именно въ этомъ направленіи, для чего у нихъ были и радикально расходилась во взглядахъ не съ одними только ргументы. представителей своего поколѣнія.

Все это зависѣло отъ того, что практическій смыслъ морали покоились на религіозныхъ началахъ, а въ нашей управлявшій ея поступками, опирался на прирожденноредѣ религіозность почти всегда отождествлялась съ церковблагодушіе, благорасположеніе къ людямъ и веселость, котдостью: одну отъ другой не отличали. Религіознымъ считая не оставляла ее до старости, когда она многое пережилаался только тотъ, кто былъ богомоленъ, ходилъ часто многое перенесла и имѣла причины во многомъ разочаровъ церковъ; кто не ходилъ или ходилъ рѣдко, тотъ считался ваться. Какая прекрасная улыбка озаряла ее лицо, когда онерелигіознымъ. Представители такого направленія обыкновенно была въ духѣ! Въ эти минуты особенно, полная какой-тенно не сочувствовали идеѣ образованія и, конечно, матери внутренней гармоніи, забывая свою глухоту, она любилаей должно быть съ моей стороны вмѣнено въ большую садиться за фортепьяно и начинала припоминать отрывкислугу, что она стала выше предразсудка, сумѣла различить старыхъ пѣсенъ своей молодости. Непослушной рукой браласферу религіи отъ сферы просвѣтительной. она полузабытые аккорды, стараясь согласить ихъ съ мело Искренно и глубоко вѣрующая, она безъ ханжества и діей и подпѣвая вполголоса. И ничего этого ужъ она не моглаффектаціи была очень богомольна. Покамѣсть позволяло слышать никогда: ни аккордовъ, ни мелодіи, ни звуковидоровье, никогда она не пропускала церковныхъ службъ своего собственного старческаго голоса!.. съ воскресные и праздничные дни. Вотъ воспоминаніе, кото-

Прислуга очень цѣнила ея хорошее обращеніе и привяое вѣзалось у меня въ памяти. Праздникѣ. Весело переывалась къ ней. Лѣтъ тридцать прожила у нея горничнаяивается звонъ сорока сороковъ церквей московскихъ. Мы Лизавета, правду сказать, далеко не образецъ въ своемтолько что вернулись отъ поздней обѣдни. У моей матери родѣ: и лѣнива она была, и не особенно чистоплотна, сосредоточенный и умиленный видъ. Проходя парадными выпить любила. Не разъ она выводила мою мать изъ терпѣомнатами, она въ каждой останавливается и истово крестится нія, а смотришь — Лизавета все живетъ да живетъ: привычка иконы; на лицѣ ея написанъ такой миръ, такой внутренсковала ихъ вмѣстѣ, и онѣ не могли обойтись другъ безній подъемъ, что и я, глядя на нее, проникаюсь тѣмъ же

постоянно въ сочиненіи колкостей по адресу своихъ ближнихъ, — тѣхъ ядовитыхъ шпилекъ, которыя иными принимаются за проявленія остроумія, образованности и свѣтскости. Надъ тѣмъ, что ей казалось смѣшнымъ, она весело подсмѣивалась, безъ всякаго оттенка злобы или зависти, а то, что ей казалось дурнымъ, она осуждала прямо и серьезно, иногда негодую. Она способна была сильно вспылить, однако гроза продолжалась у нея недолго и никогда не влекла за собою злостныхъ послѣдствій для кого бы то ни было. Я не помню, чтобы когда-нибудь, даже въ гнѣвѣ, она употребляла бранныя слова. Если мнѣ случалось чѣмъ-нибудь разсердить ее, она говорила въ сердцахъ:

„Какой ты глупый, я посмотрю, если не понимаешь, что тебѣ говорить“.

Вотъ и все. Ни разу не случилось, чтобы она примѣнила ко мнѣ строгія мѣры воздѣйствія во вкусъ того времени: она была настроена принципиально противъ нихъ, чѣмъ радикально расходилась во взглядахъ не съ одними только представителями своего поколѣнія.

Все это зависѣло отъ того, что практическій смыслъ, управлявшій ея поступками, опирался на прирожденное благодушіе, благорасположеніе къ людямъ и веселость, которая не оставляла ее до старости, когда она многое пережила, многое перенесла и имѣла причины во многомъ разочароваться. Какая прекрасная улыбка озаряла ее лицо, когда она была въ духѣ! Въ эти минуты особенно, полная какой-то внутренней гармоніи, забывая свою глухоту, она любила садиться за фортепьяно и начинала припоминать отрывки старыхъ пѣсенъ своей молодости. Непослушной рукой брала она полузабытые аккорды, стараясь согласить ихъ съ мелодіей и подпѣвая вполголоса. И ничего этого ужъ она не могла слышать никогда: ни аккордовъ, ни мелодіи, ни звуковъ своего собственнаго старческаго голоса!..

Прислуга очень цѣнила ея хорошее обращеніе и привязывалась къ ней. Лѣтъ тридцать прожила у нея горничная Лизавета, правду сказать, далеко не образецъ въ своемъ родѣ: и лѣнива она была, и не особенно чистоплотна, и выпить любила. Не разъ она выводила мою мать изъ терпѣнія, а смотришь — Лизавета все живетъ да живетъ: привычка сковала ихъ вмѣстѣ, и онѣ не могли обойтись другъ безъ

друга. Зато и привязана же была Лизавета къ своей госпожѣ! Надо было видѣть ея безпокойство при малѣйшемъ недомоганіи барыни. Такъ и умерла Лизавета у насъ, не отходя отъ матери.

Переписка моей матери доказываетъ, что въ глубинѣ ея души многое смутно чувствовалось и бродило, какъ протестъ противъ тѣхъ узкихъ условій существованія, въ какое поставлена была наша семья. Она сознавала необходимость образованія и огорчалась, что обстоятельства не позволяютъ ей дѣятельно вмѣшиваться въ жизнь. Кому, главнымъ образомъ, какъ не ей, обязанъ и пишущій эти строки своимъ образованіемъ, къ которому въ тѣ времена въ купечествѣ относились не особенно довѣрчиво? При ея значеніи въ дѣлѣ моего воспитанія ей ничего бы не стоило поставить мнѣ почти непреодолимыхъ преграды и направить всю мою жизнь на другой путь. Тѣмъ болѣе, что были люди, которые толкали ее именно въ этомъ направленіи, для чего у нихъ были и аргументы.

Какъ у отца, такъ и у моей матери основы міровоззрѣнія и морали покоились на религіозныхъ началахъ, а въ нашей средѣ религіозность почти всегда отождествлялась съ церковностью: одну отъ другой не отличали. Религіознымъ считался только тотъ, кто былъ богомоленъ, ходилъ часто въ церковь; кто не ходилъ или ходилъ рѣдко, тотъ считался нерелигіознымъ. Представители такого направленія обыкновенно не сочувствовали идеѣ образованія и, конечно, матери моей должно быть съ моей стороны вмѣнено въ большую заслугу, что она стала выше предразсудка, сумѣла различить сферу религіи отъ сферы просвѣтительной.

Искренно и глубоко вѣрующая, она безъ ханжества и аффектаціи была очень богомольна. Покамѣстъ позволяло здоровье, никогда она не пропускала церковныхъ службъ въ воскресные и праздничные дни. Вотъ воспоминаніе, которое врѣзалось у меня въ памяти. Праздникъ. Весело переливается звонъ сорока сороковъ церковей московскихъ. Мы только что вернулись отъ поздней обѣдни. У моей матери сосредоточенный и умиленный видъ. Проходя парадными комнатами, она въ каждой останавливается и истово крестится на иконы; на лицѣ ея написанъ такой миръ, такой внутренний подъемъ, что и я, глядя на нее, проникаюсь тѣмъ же

чувствомъ. Какъ мнѣ становится хорошо съ ней! Мы какъ бы сознаемъ невидимое присутствіе Божества, благого и милостиваго, и это сознаніе наполняетъ наши души невыразимымъ блаженствомъ... Въ эти минуты хотѣлось всѣхъ любить, обнять и быть всегда добрымъ, добрымъ...

По утрамъ и вечерамъ мать моя подолгу молилась у себя въ спальнѣ. Меня всегда умиляла ея усердная, горячая молитва, произносимая громкимъ шопотомъ передъ большимъ кивотомъ, со старинными иконами въ серебряныхъ и позолоченныхъ ризахъ, озаренныхъ свѣтомъ неугасимой лампы. Она имѣла обыкновеніе читать Апостолъ и Евангеліе текущаго дня, а также и молитвы святымъ, память которыхъ чествовалась. И когда старость и недуги лишили ее возможности простаивать долго на молитвѣ, она, отославъ горничную и опустившись въ кресло, усердно молилась сидя. Большіе праздники она проводила по-пуритански, считая грѣхомъ какое-нибудь свѣтское занятіе, даже свои невинныя ручныя работы — вязанье или вышиванье на пальцахъ: допускалось только чтеніе духовныхъ книгъ.

Въ связи съ ея религіозностью стояла однако одна слабая черта ея характера, которая особенно опредѣлилась къ старости.

Изъ писемъ отца не видно, чтобы онъ проявлялъ увеличенное уваженіе къ духовенству; зато мать моя чувствовала передъ лицами духовнаго званія какой-то суетѣрный страхъ. Попы, монахи и монахини всегда могли рассчитывать на вниманіе съ ея стороны. Сколько разъ въ послѣдствіи мнѣ приходилось заставлять монастырскихъ сборщиковъ въ скуфьяхъ и безъ скуфей, съ книжками и безъ книжекъ подѣ ея окнами! Монастыри одолѣвали ея и корреспонденціей. По крайней мѣрѣ, третья доля бумагъ, оставшихся послѣ нея, состояла изъ просительныхъ писемъ отъ монастырей со всѣхъ концовъ Россіи, но преимущественно изъ Бѣломорскаго края. То просто просятъ денегъ, то присылаютъ деревяннаго маслица, артуса, „кипарисную“ икону, приглашаютъ на церковные праздники и на освященіе храмовъ. Обыкновенно, въ письмахъ приложенъ весьма обстоятельный адресъ: такая-то губернія, такой-то уѣздъ, такая-то почтовая станція, такому-то іеромонаху и т. п. Есть и воззванія, если не явно подложныя, то очень сомнительныя, безъ подписей

даже безъ названія обителей: должно-быть, какой-нибудь самозванецъ приходилъ, чтобы сорвать что-нибудь и затѣмъ безслѣдно скрыться. Вѣроятно, эти продѣлки въ большинствѣ случаевъ увѣнчивались успѣхомъ, потому что мать моя не могла видѣть равнодушно расу.

Вѣра ея въ сверхъестественное нашла себѣ еще и другую пищу. Въ Преображенской больницѣ долго содержался душевнобольной, нѣкій Иванъ Яковлевичъ Корейша. Въ святость его вѣрили безусловно по крайней мѣрѣ три четверти московскаго населенія. Онъ считался настоящимъ оракуломъ: къ нему обращались за совѣтами, засылали съ вопросами въ разныхъ житейскихъ казусахъ. Иванъ Яковлевичъ строилъ что придетъ въ голову на клочкѣ бумаги, и каракули его потомъ благоговѣнно разбирались и комментировались. Авторитетность его отвѣтовъ коренилась въ томъ, что они состояли нерѣдко изъ обрывковъ молитвъ, текстовъ священнаго писанія и духовно-нравственныхъ сентенцій, что объясняется происхожденіемъ Ивана Яковлевича изъ духовнаго званія. Консультанціи съ нимъ однако не всегда носили безобидный характеръ. Иногда онъ дѣлалъ выходки безобразно циническія, не стѣсняясь присутствіемъ женщинъ. Рассказывали, что на предложенный ему вопросъ: выйдетъ ли удачно одно дѣло, онъ отвѣтилъ грубѣйшей демонстраціей и затѣмъ изрекъ:

„Выпей! Все выйдетъ“.

Ивану Яковлевичу несли деньги и гостинцы всякаго рода, фрукты, сласти. Считали за особое счастье, если онъ съѣстъ одну половину пряника или яблока, а другую предложить докончить гостю. Говорили, что сторожа Преображенской больницы, приставленные къ его особѣ, наживали хорошія деньги за пропускъ къ нему преимущественно его поклонницъ. Когда Иванъ Яковлевичъ умеръ, пробовали будто бы замѣстить его другимъ прорицателемъ, но дѣло не пошло: второй не оказался на высотѣ положенія и не сумѣлъ пріобрѣсти популярности.

И мать моя, несмотря на свой умъ, отдавала дань вѣку и обращалась не разъ чрезъ третьихъ лицъ за совѣтами къ Ивану Яковлевичу. Въ ея бумагахъ уцѣлѣли письменные его отвѣты. Чтобы дать о нихъ понятіе, я приведу нѣкоторые.

1. Безъ вопроса. Отвѣтъ Ивана Яковлевича: „Елицы во

Христа креститесь во Христа облекостесь, и одѣястесь, и одждостесь, и спасостесь. Аннѣ Христовой". Вмѣсто подписи нѣсколько крестовъ.

2. Безъ вопроса. „Цада повинуйтесь родителямъ, а вы отцы не раздражайте (одно слово неразборчиво) своя исцадія. 1848 рока, а мца Януарія XXXI дня кае Хевреулія 1 дня“. Сбоку подписано: „Анниѣ“ и поставленъ крестъ.

3. Вопросъ, написанный безграмотно и не рукою моей матери: „Иванъ Яковлевичъ, прошу я рабѣ Аннѣ какъ жизнь продолжается?“ Отвѣтъ рукою Корейши: „Человѣкъ ищетъ лутчее житіе, а (слово неразобрано) ищетъ дивно нетлѣнное житіе, а пискаръ ищетъ глыбокое житіе. Христосъ Воскресе“.

4. Безъ вопроса. Отвѣтъ: „Спаси Господи люди твои и благослови достояніе твое, викторію подай благовѣрной Анниѣ (три н!) и твое сохраняя крестнымъ знаменіемъ брениное (!) жителство. 1848 рока а мца Ануареіу XII дня“. Нѣсколько крестовъ, а ниже: „да“. Сбоку „Миколай Кае Анна“.

Здѣсь я припомню одинъ случай, по поводу котораго мать моя консультировала знаменитаго прорицателя. Она сама мнѣ это рассказывала.

Ей не было еще сорока лѣтъ, когда скончался отецъ. Не мудро, что она могла еще помышлять о второмъ бракѣ. Такъ какъ она все еще не совсѣмъ разочаровалась къ возможности вернуть слухъ, случилось ей обратиться къ какому-то молодому врачу, специалисту по ушнымъ болѣзнямъ. Специалистъ былъ недуренъ собой и очень ловокъ. Ему удалось заинтересовать собою мою мать. Въ одинъ прекрасный день онъ ей сдѣлалъ предложеніе. Мать моя смутилась и просила повременить отвѣтомъ. Былъ посланъ запросъ Ивану Яковлевичу, какъ поступить. Не помню, что отвѣтилъ сей мудрецъ, но справки, наведенныя о специалистѣ братьями, оказались для него неблагопріятными, и мать моя отказалась отъ мысли о новомъ бракѣ.

Была еще одна черта въ ея характерѣ, которая заставляла ее страдать понапрасну: у нея съ годами развилась подозрительность, какъ это часто бываетъ у людей, одержимыхъ глухотою. Ей представлялось, что говорятъ про нее, притомъ издѣваясь надъ нею, особенно, если смѣялись въ ея присутствіи, и она не догадывалась о предметѣ разговора.

Иногда бесѣдовали о совершенно постороннихъ вещахъ, а она, вдругъ вся вспыхнувъ и повысивъ голосъ, обидчиво заявляла, что понимаетъ хорошо, что смѣются надъ нею, и приводила при этомъ какой-нибудь воображаемый мотивъ. Такія вспышки однако проходили у нея безслѣдно: она не была злопамятна, а можетъ быть и сдавалась на объясненія, которыя ей давали.

Еще одно, послѣднее мелкое, но дорогое воспоминаніе.

Вечеромъ, въ свободное время, она охотно приходила ко мнѣ въ дѣтскую поиграть въ карты. Играли мы въ дурачки, московскіе и петербургскіе, въ фофаны, мельники, зѣваки, свинки, свои козыри. Вчетверомъ играли въ короли, обыкновенно съ няней и какой-нибудь захожей старушкой. Если я оставался мельникомъ, мать моя, улыбаясь, утѣшала меня:

„Ничего, батюшка! Мельники бываютъ богатые“.

При случаѣ она была не прочь и поплутовать. При этомъ она какъ-то шурилась и принимала виноватый видъ, чѣмъ себя тотчасъ же и выдавала. И раскладывая одна пасьянсы до которыхъ была охотница, она также нѣтъ-нѣтъ да и возьметъ карту откуда, по правиламъ, не слѣдуетъ. Когда я, бывало, замѣчаю такой маневръ и въ порывѣ дѣтскаго рвенія останавливаю ее, она покачаетъ головою и скажетъ мягко, но авторитетно:

„Ничего, батюшка! Одинъ разъ дозволяется“.

Этотъ наивный самообманъ объяснялся тѣмъ, что она обыкновенно загадывала о чемъ-нибудь, желая отъ картъ благопріятнаго отвѣта, и досадовала, если пасьянсъ не сходилъ.

Написавши эти строки, я чувствую, что онѣ должны быть послѣдними: я давно перешагнулъ за хронологическую рамку моего труда и рассказалъ гораздо больше того, чѣмъ могъ упомянуть изъ моего ранняго дѣтства.

Портретъ моей матери, приложенный здѣсь, представляетъ снимокъ съ дагерротипа, снятаго около 1855 года, когда ей было 47 лѣтъ. Около этого же времени (1854 г.) ее рисовалъ пастелью съ натуры нѣмецкій художникъ Рандель, но довольно неудачно.

IV.

Няня Раида Николаевна.

Первымъ другомъ моего дѣтства была моя няня Раида Николаевна. Она была лѣтъ сорока, высокаго роста, стройная, съ черными съ просѣдью волосами, большими черными глазами и орлинымъ носомъ. Въ свое время она, должно быть, была недурна собой. Она была незамужняя. У нея былъ прямой и нѣсколько рѣзкій характеръ; ее возмущала каждая несправедливость и она умѣла при случаѣ постоять за правду. Когда она была чѣмъ-нибудь взволнована, на блѣдномъ лицѣ ея вспыхивалъ яркій румянецъ, черные глаза загорались и блестѣли. Она была чрезвычайно богомольна и никогда не ѣла скоромнаго; оттого отъ нея всегда исходилъ какой-то постный запахъ, очень характерный.

Будучи грамотной, она, когда не вязала чулка, охотно читала духовныя книги. Я живо помню ея молитвенникъ, насквозь просаленный и почернѣвшій, съ кучей закладокъ въ видѣ разноцвѣтныхъ бумажекъ, ленточекъ и шнурочковъ. Сидить, бывало, съ нимъ, надѣвши на носъ свои огромныя очки, и, отставивши книгу чуть не на аршинъ, шевелить губами, шопотомъ произнося слова. Серьезность ея ума давала направленіе нашимъ бесѣдамъ. Она не любила сказокъ, но охотно передавала мнѣ житія святыхъ. Очень рано я узналъ житія подвижниковъ, столпниковъ, мучениковъ, Печерскихъ чудотворцевъ и св. Сергія. У няни были на все свои строго опредѣленные воззрѣнія, очень одностороннія, но очень твердыя. Главное, она была пламенной патріоткой. Она считала одну православную вѣру за истинную, одинъ русскій народъ за правильно мыслящій, христіанскій, достойный всякаго уваженія и славы, всѣ же другія народности и вѣроисповѣданія называла погаными, еретическими, ничего не стоящими. Карла Ивановича она еще почему-то терпѣла, но къ французу-гувернеру, котораго ко мнѣ приставили въ послѣдствіи, относилась прямо съ ненавистью и очень

тужила, когда меня отдали въ нѣмецкій пансіонъ. Въ религіозныхъ вопросахъ она выработала себѣ извѣстнаго рода чутье. Однажды, уже взрослый, я нашелъ у букиниста какую-то книгу духовно-нравственнаго содержанія двадцатыхъ годовъ, того мистически-піэтистическаго характера, который развился на почвѣ протестантизма, и приобрѣлъ ее для Раиды Николаевны, надѣясь ей угодить. Когда я спросилъ няню чрезъ нѣсколько времени, понравилась ли ей книга, она отвѣтила:

— Начала ее читать, батюшка, только скоро бросила и больше приниматься за нее не буду. Не по душѣ она мнѣ!

— Почему?

— Сама не знаю, почему. Въ ней есть что-то неправославное, чего я, глупая, объяснить не могу. Только не нравится.

А между тѣмъ, кромѣ Священнаго Писанія и проповѣдей православныхъ проповѣдниковъ, любимой книгой няни было сочиненіе Ѳомы Кемпійскаго „О подражаніи Христу“, которое она прочла несчетное число разъ, не подозревая, что книга написана „еретикомъ“.

Узко-церковная точка зрѣнія на все развилась у няни въ связи съ впечатлѣніями молодости. Она была дворовой извѣстной своимъ благочестіемъ графини Анны Алексѣевны Орловой-Чесменской, покровительницы не менѣе знаменитаго архимандрита Фотія, и выросла при ней, въ ея имѣніи въ Дмитровскомъ уѣздѣ. Няня съ восторгомъ вспоминала о живописности той мѣстности.

„А ужъ какъ наша Яхрома хороша“, говаривала она, „и описать не могу. Быстрая, многоводная, глубокая, течетъ въ высокихъ берегахъ, не то что ваша Москва-рѣка, что курица въ бродъ перейдетъ!“

Она хорошо помнила графиню, была самага высокаго мнѣнія объ ея святости и при случаѣ гордилась, что была ея крѣпостной. Когда я въ позднѣйшее время, студентомъ, вздумалъ какъ-то прочесть ей извѣстную эпиграмму Пушкина на Фотія и графиню, то получилъ отъ нея жестокій нагоняй, при чемъ, конечно, еще болѣе досталось Пушкину, чѣмъ мнѣ.

V.

Мои старшіе братья Иванъ и Семенъ. — Характеристика ихъ. — Контора и ея обитатели.

Главными представителями, направи́телями и вершителями судебъ нашего семейства являлись въ это время мои старшіе братья, Иванъ и Семенъ Петровичи. Они продолжали вести дѣло нашей фабричной и торговой фирмы; имъ принадлежалъ наравнѣ съ моей матерью рѣшающій голосъ и во всѣхъ внутреннихъ вопросахъ.

Характеръ моихъ отношеній къ нимъ былъ таковъ, что не допускалъ особой интимности. По малолѣтству, я не долженъ былъ знать никого, кромѣ моей матери, взявшей на себя всѣ попеченія обо мнѣ. И видалъ я братьевъ мало, большей частью только при утреннемъ здорованьи; затѣмъ они отправлялись въ лавку часовъ до 4, пили вечерній чай и ужинали далеко не всегда вмѣстѣ съ нами, нерѣдко уѣзжая по дѣламъ или въ гости. Помнится однако, клубы тогда еще не были въ ходу. Все-таки изъ встрѣчъ съ ними за ужиномъ память моя удержала больше подробностей объ Иванѣ, чѣмъ о Семенѣ, — доказательство, что Семенъ чаще отсутствовалъ. Чтобы сразу установить мою дѣтскую точку зрѣнія на нихъ, скажу, что они оба были для меня безразличны. Никогда я имъ не внушалъ интереса; никогда они не принимали участія ни въ моихъ занятіяхъ, ни въ моихъ развлеченияхъ; никогда никто изъ нихъ не порадовалъ меня разумнымъ разговоромъ; они были ко мнѣ совершенно равнодушны. Я не имѣю никакого основанія упрекнуть ихъ въ какомъ-нибудь неправильномъ или несправедливомъ поступкѣ относительно моей маленькой особы, но нѣтъ у меня и возможности зачесть имъ что-нибудь въ заслугу, вспомнить съ теплымъ чувствомъ о какой-нибудь ласкѣ съ ихъ стороны. Мы жили вмѣстѣ — вотъ и все, и жили на такой ногѣ, на какой я могъ жить и съ совершенно посторонними людьми, а не съ однородными братьями. И послѣдующія мои отношенія къ нимъ были таковы, что у меня не было основаній ни сослаться на ихъ дружбу, ни жаловаться на ихъ непріязнь.

... Утро. Няня меня умыла и одѣла. Я помолился Богу. Около девяти часовъ мы съ няней спускаемся внизъ пить чай въ столовой. Предварительно надобно поздороваться со старшими братьями. Проходимъ чрезъ столовую въ коридоръ и останавливаемся у двери налѣво. Это и есть ходъ въ святилище — дѣловой кабинетъ моихъ братьевъ, прежній отцовскій.

Не отворяя двери, няня спрашиваетъ, можно ли войти. Позволеніе дается. При входѣ насъ обдаетъ сильнымъ запахомъ сургуча.

Комната была небольшая, хотя довольно высокая, съ двумя окнами на дворъ. Средину ея занимали двѣ огромныя дубовыя конторки, составленныя спинками: за лѣвой конторкой возсѣдалъ на высокомъ табуретѣ Семенъ Петровичъ, за правой — Иванъ Петровичъ. Направо отъ двери, въ углу, помѣщалось большое старинное отцовское бюро изъ краснаго дерева съ зеркаломъ наверху; налѣво, у печки, стоялъ низенькій денежный сундукъ.

— Здравствуйте, братцы! говорю я, входя.

— Здравствуй, *Николя!* отвѣчаетъ братъ Семенъ.

— Здравствуй, *Никѡла!* говоритъ братъ Иванъ.

Оба цѣлуютъ меня. Это повторялось неизмѣнно. Конечно, мнѣ тогда казалось совершенно безразличнымъ, какъ меня называютъ, и только гораздо позже, разбирая корреспонденцію отца, я понялъ, откуда произошло мое наименованіе *Николой*, во всякомъ случаѣ, гораздо менѣе употребительное: такъ нерѣдко называлъ меня въ своихъ письмахъ отецъ. Это былъ отголосокъ его манеры.

Братья зададутъ какой-нибудь ничтожный вопросъ о здоровьи, сдѣлаютъ выговоръ за какую-нибудь шалость — и аудіенція считалась конченною. Но иногда „братцы“ захотятъ пошутить.

— Ну-ка, скажи, что значить по-нѣмецки „Ich weiss nicht“?

— „Я не знаю“, отвѣчаю я.

— Какъ не знаешь? чему жъ тебя учить Карлъ Ивановичъ? начинаетъ притворно сердиться старшій братъ.

Или:

— Скажи мнѣ, какъ по-нѣмецки: „вилка“.

— „Die Gabel“.

— Что ты говоришь? Дьяволъ?! Ай-ай, какъ нехорошо! Развѣ можетъ быть такое слово? Вотъ чему тебя учить Карлъ Иванычъ!...

И другія шутки были въ этомъ родѣ. Иногда Иванъ Петровичъ скажетъ: „сидь на чемъ стоишь, а ножки свѣсь“. До сихъ поръ, несмотря на длинный рядъ протекшихъ лѣтъ, у меня на душѣ сохранилось впечатлѣніе какого-то сплошнаго недоумѣнія отъ этихъ шутокъ. Остроуміе ихъ такъ и осталось мнѣ недоступнымъ. Со мной такъ не шутили ни мать моя, ни няня, ни Карлъ Ивановичъ.

Мнѣ пріятнѣе всего было, если братья скажутъ:

„Нынче можно порыться въ корзинѣ“.

Корзина эта для ненужныхъ бумагъ и конвертовъ всегда стояла у лѣваго окна. Съ какимъ удовольствіемъ принимался я опустошать ее! Главный интересъ заключался въ конвертахъ. Ахъ, какіе бывали тутъ чудесные конверты: и большіе, и маленькіе, и длинные изъ плотной бумаги бѣлой или синей, съ круглыми штемпелями и большими красивыми сургучными печатами! На послѣднія я особенно зарился. Въ то время марки еще не были въ употребленіи, и заклепка конвертовъ была неизвѣстна; зато каждое письмо было снабжено по крайней мѣрѣ одной печатью. Нагруженный этимъ добромъ, я радостно удалялся и затѣмъ посвящалъ цѣлые дни на разборку и классификацію конвертовъ, на вырѣзку печатей и т. д. Меня игрушками никогда не баловали, такъ что я привыкъ цѣнить всякую мелочь, вводящую разнообразіе въ мою маленькую жизнь.

Иванъ Петровичъ, говорятъ, очень напоминалъ свою мать Софью Ивановну. У него были довольно большіе каріе глаза съ открытымъ, хотя неглубокимъ взглядомъ; онъ носилъ всю жизнь короткіе бакенбарды котлетами, а черные волосы на вискахъ зачесывалъ прямо напередъ. У него рано показалась лысина. Отъ природы недурной человекъ, готовый при случаѣ на услугу по мѣрѣ силъ и разумѣнія, онъ однако былъ недалекъ и крайне несдержанъ. Отсутствіе воспитанія сказывалось у него въ какой-то типической суетливости: онъ всегда куда-то торопился, — затѣмъ въ любви къ шутству и въ безобразной вспыльчивости, отъ которой прежде всего

страдали его собственные беззащитныя дѣти. Легкость перехода отъ неудовольствія къ кулачной расправѣ вообще характеризовала обоихъ старшихъ братьевъ. Мои бѣдные друзья Петя и Анюта вынесли немало колотушекъ на своемъ вѣку. Самыя шутки Ивана Петровича носили какой-то необузданный характеръ.

У насъ въ столовой стоялъ огромный буфетный шкафъ, такой большой, какихъ теперь днемъ съ огнемъ и у старьевщиковъ не сыщешь: въ немъ было не менѣе четырехъ аршинъ вышины. Ивана Петровича забавляло посадить 5—6-лѣтняго сына на этотъ шкафъ и затѣмъ дразнить его тѣмъ, что его тамъ оставляютъ. Можно представить себѣ душевное настроеніе Пети, а плакать онъ не смѣлъ, ибо за это ожидало его неудовольствіе отца и кара. Иногда Иванъ Петровичъ игралъ сыномъ, какъ мячикомъ, высоко подбрасывая его надъ головой. Мать моя всегда возмущалась этимъ и говорила, что онъ когда-нибудь „изуродуетъ“ сына. Я не припомню, чтобъ Иванъ Петровичъ позволилъ себѣ шутить такъ со мною, хотя я былъ почти ровесникомъ Пети. Надо думать, мать моя разъ навсегда внушила ему, чтобъ онъ оставлялъ меня въ покоѣ въ своихъ игривыхъ начинаніяхъ.

Другая шутка заключалась въ томъ, чтобы Петѣ „показать Петербургъ“. Для этой цѣли Иванъ Петровичъ бралъ сына обѣими ладонями за виски и такимъ манеромъ приподнималъ довольно высоко на воздухъ: все тѣло ребенка висѣло такимъ образомъ на шейныхъ позвонкахъ. Эту шутку Иванъ Петровичъ продѣлывалъ и со мною. Несчастный не понималъ, что при неловкомъ поворотѣ второй шейный позвонокъ могъ выскочить изъ перваго, при чемъ смерть была бы моментальной для его сына или брата.

Въ виду безалаберной вспыльчивости Ивана Петровича со всѣми ея послѣдствіями, даже сравнительно невинныя его потѣхи ничего не внушали его дѣтямъ, кромѣ страха. Когда онъ сажалъ кого-нибудь изъ нихъ себѣ на плечи и во весь духъ мчался по параднымъ комнатамъ, крича пѣтухомъ, или, посадивъ ребенка себѣ верхомъ на спину, ползалъ на четверенькахъ по полу и ржалъ по-лошадиному, то всегда требовалъ, чтобы дѣти не смѣли бояться или плакать. Вообще, выражать какія-либо чувства при этомъ, кромѣ удовольствія, было строго запрещено.

Къ особенностямъ Ивана Петровича относилась любовь ко всякаго рода прибауткамъ и присказкамъ, которыми онъ приводилъ въ недоумѣніе даже мою несовершенную дѣтскую сообразительность. Сидить-сидить, да вдругъ ни къ селу ни къ городу брякнетъ: „Того вонъ какъ оно!“ или „Сядь на чемъ стоишь, а ножки свѣсь“.

Или начнетъ распѣвать призывы уличныхъ разносчиковъ: „Свѣчи салны, свѣтильни бумажны, ясно горять, продаются хотять“.

„Блины горячи, съ лучкомъ съ перцемъ, съ собачьимъ сердцемъ“.

„Сладкіе пироги съ патокой, съ имбиремъ, варилъ дядя Симіонъ, тетушка Арина ѣла да хвалила“.

Или скажетъ скороговоркой:

„Гдѣ живете? Въ домѣ на горкѣ, дверью въ рѣку, на краю погребели, посрединѣ пропасти“.

Балагурство это, состоя только изъ повторенія чужихъ формулъ и не оживляемое собственнымъ творчествомъ, носило характеръ чего-то напускного, искусственного и вмѣстѣ съ тѣмъ низменнаго. Сюда же относилось и глумленіе надъ Карломъ Ивановичемъ, составлявшее особую специальность Ивана Петровича. Всѣ выходки подобнаго дешеваго остроумія составляли главнымъ образомъ утѣху лакеевъ и горничныхъ, которые надрывали животики со смѣху. Семенъ Петровичъ никогда не позволялъ себѣ ни подобныхъ шутокъ, ни панибратства съ прислугой и умѣлъ держать себя съ большимъ достоинствомъ. Поэтому прислуга и приказчики, конечно, больше любили Ивана Петровича за его простоту и непосредственность, чѣмъ Семена, котораго боялись, какъ огня. Побаивался его и Иванъ, который при немъ всегда отходилъ на второй планъ, чувствуя его превосходство.

Такимъ образомъ, мѣсто отца по авторитету занялъ несомнѣнно Семенъ Петровичъ.

Онъ былъ ростомъ значительно ниже Ивана, довольно плотнаго сложенія и съ очень ранней склонностью къ полнотѣ. Говорять, онъ походилъ лицомъ на отца, хотя у него были рыжеватые волосы и каріе глаза, а отецъ былъ брюнетъ съ глазами сѣрыми; отца несомнѣнно напоминало у него устройство нижней губы, выдававшейся нѣсколько впередъ. Онъ не носилъ бывшихъ тогда въ модѣ бакенбардъ, потому что



ФОТ. П. ПАВЛОВА.

Семень Петровичъ и Ольга Семеновна
ВИШНЯКОВЫ

(въ началѣ 1850-хъ годовъ).

они у него плохо росли, а бриль лицо начисто. Изъ-подъ его хорошо развитога лба небольшіе глаза глядѣли пронизательно, но сухо: вся его натура, впрочемъ, была такая. Я никогда не видалъ, чтобы онъ смѣялся отъ чистаго сердца. Всегда сосредоточенный и серьезный, онъ производилъ впечатлѣніе чловѣка себѣ на умѣ, зорко стоящаго на стражѣ только своихъ интересовъ и довольно равнодушнаго ко всему остальному. Убѣжденіе въ своемъ умственномъ превосходствѣ внушало ему большую самоувѣренность, выражавшуюся въ осанкѣ и походкѣ. Безспорно умный и дѣловитый, онъ однако былъ совершенно лишенъ тѣхъ качествъ, которыя привлекаютъ къ себѣ людей: непосредственности, мягкости и экспансивности. Его одни уважали, другіе боялись, но едва ли кто любилъ. Съ подчиненными онъ обходился деспотически, рѣзко, а иногда и жестоко. Николаевская эпоха вообще отличалась процвѣтаніемъ всякаго рода тѣлесныхъ воздѣйствій, которыя считались необходимыми не только въ качествѣ элемента карательнаго, но и воспитательнаго. Семень Петровичъ не стоялъ выше своего вѣка: при его горячности гнѣвъ его принималъ нерѣдко формы крайнія; особенно доставалось младшимъ приказчикамъ. Никогда не забуду и того тревожнаго вида, съ какимъ даже старшій приказчикъ нашъ, Петръ Ивановичъ Сорочинскій, бывало, ждетъ аудіенціи у дверей кабинета. Нервно переминаясь съ ноги на ногу и машинально то застегивая, то разстегивая сюртукъ, онъ походилъ не на служащаго, пришедшаго давать объясненія по дѣлу, а на преступника, ожидающаго приговора, и при томъ суроваго.

Такія черты характера въ главномъ представителѣ семейной власти не могли способствовать прочному насажденію любви и согласія въ нашемъ семействѣ, такъ какъ онъ проявлялись не только по отношенію къ служащимъ, но и къ младшимъ членамъ семьи. Въ этой средѣ, поэтому, очень рано зародилась и оппозиція. Она имѣла слѣдствіемъ и постепенное охлажденіе между Семеномъ Петровичемъ и моей матерью, о чемъ будетъ рѣчь ниже. Справедливость требуетъ однако прибавить, что отношенія между моей матерью и Семеномъ Петровичемъ хотя и не отличались сердечностью, никогда не переставали оставаться вполне корректными. Онъ всегда относился къ ней вѣжливо и почтительно.

Если первымъ коммерческимъ святилищемъ, куда я допускался лишь въ видѣ исключенія, былъ отцовскій кабинетъ, то другимъ такимъ святилищемъ была наша контора, помѣщавшаяся въ нижнемъ этажѣ. Войти въ нее можно было только съ задняго крыльца со двора, либо по внутренней лѣстницѣ изъ парадной прихожей. Помню низкія, грязныя, плохо освѣщенныя комнаты, съ конторками, большими шкафами и связками бумагъ. Въ конторѣ заставляли приказчики: Петръ Ивановичъ Сорочинскій, Михаилъ Ивановичъ Лобановъ, Васька Сивохинъ и конторскіе мальчики. Всѣхъ приказчиковъ я хорошо помню. О Сорочинскомъ и Лобановѣ я уже говорилъ раньше: это были старики. Молодой Васька Сивохинъ ходилъ всегда съ опухшимъ отъ водки лицомъ и обладалъ развязными манерами трактирнаго полового. Когда я встрѣчался съ кѣмъ-нибудь изъ нихъ, они вѣжливо говорили мнѣ: „здравствуйте, сударь!“ и цѣловали меня, кто въ руку, кто въ губы. Но задерживаться долго имъ со мною не приходилось, потому что они являлись наверхъ всегда лишь по дѣлу. Изъ кабинета раздавался властный окрикъ Семена Петровича, и они торопились предстать предъ хозяйскія грозныя очи...

Кстати — о прислугѣ. Штатъ ея, бывший у меня на глазахъ, на „чистой или господской половинѣ“, состоялъ изъ ключницы, двухъ горничныхъ и лакея; еще были поваръ, кухарка и прачки, — тогда все бѣлье, разумѣется, стиралось дома, — но эти домохозяды жили и дѣйствовали въ нижнемъ этажѣ, почти никогда не показывались наверху, а потому были мнѣ почти неизвѣстны. Кромѣ горничной моей матери и моей няни, мнѣ не помнится, чтобы прислуга жила у насъ подолгу: иначе я сохранилъ бы о комъ-нибудь определенное воспоминаніе. Большею частью это были крѣпостные, отпущенные по оброку, то-есть, обязанные платить ежегодную дань помѣщикамъ за право жить на сторонѣ. Главный порокъ, за который прислугу увольняли, было пьянство. На обхожденіе у насъ нельзя было жаловаться; я, по крайней мѣрѣ, не помню, чтобы происходили бурныя объясненія съ физическимъ воздѣйствіемъ или безъ онаго. Я приписываю это всецѣло вліянію моей матери, которая еще отца моего журила, если онъ позволялъ себѣ черезчуръ увлекаться гнѣвомъ.

VI.

Братья Володя и Миша. — Шалости. — Похороны Гоголя. — Пожаръ Большого театра. — Мой другъ Гекторка. — Александра Николаевна. — Кое-что изъ правовъ добраго стараго времени.

Переходя къ разсказу объ отношеніяхъ къ моимъ роднымъ братьямъ, я прежде всего долженъ остановиться на очень странномъ обстоятельстве: за разсматриваемый промежутокъ времени у меня совершенно отсутствуютъ воспоминанія о старшемъ изъ нихъ, Сергѣѣ. Какъ-будто его не существовало. Онъ никуда не уѣзжалъ, занимался въ лавкѣ, но гдѣ онъ жилъ, ходилъ ли къ намъ и когда — это совершенно испарилось изъ моей памяти. Изъ этого я заключаю, что видалъ я его рѣдко, вѣроятно только мелькомъ, и что при встрѣчахъ со мной онъ ничѣмъ особеннымъ себя не заявилъ. Это имѣетъ большое значеніе, такъ какъ въ послѣдующій періодъ моей жизни именно ему, а не кому-другому, суждено было попасть въ главные руководители и направители моихъ жизненныхъ путей на ряду съ моей матерью. Я не могу забѣгать впередъ, а потому лишенъ возможности привести здѣсь его характеристику, какъ особаго продукта купеческой культуры того времени.

Я уже говорилъ, что въ мезонинѣ противъ моей дѣтской помѣщались мои братья Володя и Миша. Они обращали на меня мало вниманія. Считаюсь закончившими свое ученіе, они, по точному смыслу отцовскаго завѣщанія, принимали уже участіе въ торговомъ дѣлѣ, вставали раньше меня и уѣзжали въ городъ на цѣлый день; возвратившись, они вечера рѣдко проводили дома, а большей частью отправлялись куда-нибудь въ гости. Такимъ образомъ сближенія между нами большаго произойти не могло. Да и гораздо старше меня они были: одинъ на девять, а другой на двѣнадцать лѣтъ. Я имъ былъ не товарищъ. Но зато, когда они изрѣдка появлялись въ моей тихой дѣтской, съ ними врывалась жизнь и веселье. Это были немногіе шумные часы моего дѣтства. Особенно заразительной веселостью отличался Миша, богато одаренная и оригинальная натура, которому впоследствии суждено было имѣть на меня большое вліяніе.

Начиналось дѣло съ нападенія на няню. Братья начинали тормошить ее. Она страшно боялась щекотки и при этомъ

кричала какъ-то особенно рѣзко, словно кудachtала. Эти крики доставляли намъ огромное удовольствіе, и мы всѣ покатывались со-смѣху. Сперва она сама смѣется, жметса, просить оставить, но подъ конецъ разсердится, отплюнется и убѣжитъ внизъ, приговаривая:

„Ахъ вы, гѣлманы, езопы, точно съ цѣпи сорвались, безстыдники! Ступайте къ себѣ, не то пойду жаловаться маменькѣ!“

Конечно, она никогда не жаловалась. Слова „гѣлманъ“ и „езопъ“ были самыми укоризненными въ ея лексиконѣ, но что они въ точности означали, никто не зналъ.

Няню пугали и мистифицировали на разные лады, впрочемъ, вполне безобидные. Устраивались фокусы. Однажды вечеромъ Володя вошелъ въ дѣтскую въ видѣ привидѣнія: весь обернутый въ бѣлую простыню, съ лицомъ, выпачканнымъ мѣломъ, и открытымъ ртомъ, откуда попыхивало зловѣщее синеватое пламя. Няня жалась со мною къ стѣнѣ, крестилась и читала молитву: „Да воскреснетъ Богъ“. Иногда прятали нянину табакерку или накладывали туда табаку другого сорта и едва удерживались отъ смѣху, когда няня начинала въ недоумѣніи разсуждать сама съ собой:

„Не понимаю, у меня словно не тотъ табакъ насыпанъ. Ужъ не вы ли, баловники, мнѣ что-нибудь съ табакеркой накуралесили?“

Чтобы подразнить няню, Миша прибилъ на стѣнѣ раскрашенный гравированный портретъ Людовика-Наполеона, незадолго передъ тѣмъ провозглашеннаго императоромъ французовъ. Наполеонъ изображенъ былъ молодцеватымъ блондиномъ съ его характерной эспаньолкой, въ синемъ, наглухо застегнутомъ мундирѣ съ перетянутой таліей и въ золотыхъ эполетахъ. Внизу была подпись: *Napoléon III, Empereur des Français*. Няня сердилась и ворчала: „Что хорошаго?! Только наши государи — настоящіе императоры, Божіи помазанники, а это — самозванецъ. Да развѣ у безбожниковъ-французовъ можетъ быть что-нибудь путное? Извѣстное дѣло — вольницы и фармазоны, больше ничего!“

Изъ моихъ оконъ братья приходили смотрѣть на похороны Гоголя (воскресенье, 24 февраля 1852 г.). Была отлично видна вся погребальная процессія, двигавшаяся по Большой Полянѣ по направленію къ Данилову монастырю: священники, траурная колесница и большая толпа народа. О значеніи

Гоголя у меня въ это время, конечно, не могло быть ни малѣйшаго представленія, но братья восторгались „Мертвыми душами“ и дразнили этимъ названіемъ няню. Раида Николаевна, разумеется, не читала знаменитаго произведенія, — она вообще ничего, кромѣ книгъ духовныхъ не брала въ руки, — но должно-быть самое названіе казалось ей недоброкачественнымъ; подозрѣвая подъ нимъ совсѣмъ иное содержаніе, чѣмъ на самомъ дѣлѣ, она только отплевывалась и называла Гоголя „безбожникомъ“, къ великой утѣхѣ братьевъ.

Я также хорошо помню пожаръ Большого театра 11 марта 1853 г. Это было утромъ. Изъ моей комнаты былъ хорошо виденъ густой дымъ, поднимавшійся изъ-за большого дворца въ Кремлѣ. Такъ какъ была ранняя весна и окна еще не выставлены, то Володя и Миша все высовывались въ форточку, чтобы слѣдить за пожаромъ, къ неудовольствію няни, которая боялась, что нахолодится моя дѣтская. Послѣ этого пожара было много разговоровъ. Особенно говорили съ восторгомъ о подвигѣ кровельщика Василя Гаврилова Марина, который съ опасностью жизни вскарабкался по жолобу до крыши горѣвшаго театра, чтобы подать веревку погибавшему рабочему и тѣмъ спасъ его отъ вѣрной смерти.

У брата Володи завелась собака Гекторъ. Няня его звала „Викторка“. Онъ былъ польской породы, бѣлый съ коричневыми пятнами и большими мягкими ушами. Я горячо полюбилъ этого славнаго пса, отличавшагося превосходнымъ характеромъ. Чего-чего я съ нимъ не дѣлалъ! И верхомъ на немъ ѣздилъ, и за уши и за хвостъ его дергалъ, и никогда это доброе животное не огрызалось, а лишь визжало, если ему было больно. Собаки бываютъ чрезвычайно злопамятны, а онъ зла не помнилъ, какъ-будто понимая, что я слишкомъ малъ и глупъ, чтобы съ меня взыскивать. Какъ только братья уѣдутъ въ городъ, онъ перебирался ко мнѣ на весь день. Его непримиримымъ врагомъ былъ „Желтый“, небольшой, но сильный дворовый песъ. Когда Гектора выпускали на дворъ, надо было зорко слѣдить за нимъ: иначе возникала жестокая баталія, шерсть летѣла клочьями съ обѣихъ сторонъ, и побѣда обыкновенно склонялась не на сторону моего любимца.

Случалось и въ присутствіи хозяина Гектора я такъ расшалюсь съ собакой, что она, визжа, убѣгала. Володя вступался за нее:

„Послушай, когда ты мою собаку оставишь въ покоѣ? Развѣ не видишь, что ей больно, когда ты ее черезчуръ теребишь? Что бы ты сказалъ, если бы я тебя сталъ дергать за уши или за руку изо всей силы?“

Однажды онъ подарилъ мнѣ ящикъ съ красками подъ условіемъ, что я не буду больше трогать собаку. Понятно, я краски взялъ, а съ Гекторомъ все-таки продолжалъ играть.

Гекторъ дожилъ до глубокой старости. Подъ конецъ онъ уже почти не двигался съ мѣста и, лежа на ковриктѣ, больной, только стоналъ. Братъ не могъ безъ слезъ говорить объ немъ и въ концѣ концовъ, чтобы избавить его отъ страданій, застрѣлилъ изъ собственныхъ рукъ.

Изъ моихъ оконъ, наискось, на противоположной сторонѣ Малой Якиманки, былъ виденъ домъ моей сестры Надежды Петровны Протопоповой. Когда къ ея дочерямъ была приглашена молоденькая, очень пикантная гувернантка Татьяна Алексѣевна, визиты братьевъ въ мою комнату участились. Ухаживая за гувернанткой, они устроили изъ моей форточкы обсервационный пунктъ, съ котораго обмѣнивались съ нею сигналами.

Однажды они откопали большую зрительную трубу отцовскую, установили ее у меня и стали наблюдать разныя интимныя подробности изъ жизни сосѣдей. Къ участию иногда допускался и я, но нерѣдко меня и отгоняли. Какъ на зло, это происходило тогда, когда братья открывали что-нибудь веселое и принимались смѣяться. Впослѣдствіи я узналъ, что на Полянкѣ жили какія-то двѣ молодыя дѣвушки, которыя каждый вечеръ въ однѣхъ рубашкахъ занимались ловлей блохъ при неспущенныхъ шторахъ въ расчетъ на то, что квартира ихъ во второмъ этажѣ. Няня Раида Николаевна подозрѣвала нескромную подкладку наблюдений, относилась къ нимъ неодобрительно и, если братья ужъ очень расходятся, грозила донести моей матери.

Но не все было такъ невинно. Жила у насъ одно время горничная Зинаида, рослая, красивая, съ полной грудью и великолѣпной косой. Позже я узналъ, что между нею и Володей завязались интимныя отношенія, сдѣлавшіяся извѣстными моей матери и имѣвшія послѣдствіемъ быстрое удаленіе Зинаиды.

Въ средѣ нашего семейства было одно несчастное существо, поставленное судьбою въ совершенно несоотвѣтствующую

ему обстановку и заслуживавшее несомнѣнно лучшей участи. Это была жена Ивана Петровича Александра Николаевна. Недурно образованная и благовоспитанная, она была совершенно не пара моему брату: онъ не могъ понимать ея стремлений, а она должна была возмущаться узостью его кругозора и грубоватыми выходками его гостиннодворскаго юмора. Немудрено, что между ними постепенно возникъ внутренній разладъ, который все возрасталъ, потому что устранить его обѣ стороны были не въ силахъ.

Я хорошо ее помню. Не будучи красавицей, она была очень интересна: Лухмановы всѣ вообще были недурны собою. Ея блѣдное, нѣжное лицо, выразительные каріе глаза, мягкія, сдержанныя манеры и тихая рѣчь носили отпечатокъ рѣдкаго изящества и придавали ей томный и аристократическій оттѣнокъ. Въ ней чувствовалась какая-то затаенная грусть, безсильная жалоба, усталая покорность судьбѣ, съ которой бороться ей было не по силамъ. Глядя на нее, нельзя было не догадаться, что жизнь для нея — не игрушка и не праздникъ, а тяжелая, непосильная ноша. Утѣшеніемъ ея были только дѣти, которыхъ она горячо любила.

Единственнымъ лицомъ, понявшимъ ее и отозвавшимся на ея духовное одиночество, былъ братъ Миша. И ему рамки нашего существованія рано показались тѣсными, и его воспримчивая натура рвалась къ свѣту и простору. Немудрено, что между ними произошло сближеніе. Александра Николаевна была рада, что нашла откликъ въ свѣжей душѣ семнадцатилѣтняго юноши. Когда позволяли обстоятельства, Миша убѣгалъ на ея половину и засиживался съ нею за чтеніемъ и бесѣдой. Они читали вмѣстѣ сочиненія Вольтера, между прочимъ его комментарій на Библію, и эта книга наложила опредѣленный отпечатокъ на религіозныя убѣжденія брата на всю его остальную жизнь. Долгое время у него хранилась, какъ реликвія, статья по исторіи философіи Эдуарда Губера, переписанная рукой Александры Николаевны¹⁾. Несомнѣнно, эти бесѣды имѣли для него большое значеніе, указавъ ему на недостаточность его образованія и на необходимость из-

¹⁾ Губеръ былъ однимъ изъ второстепенныхъ русскихъ поэтовъ 1840-хъ годовъ. Онъ перевелъ «Фауста» Гете. Отдавая должное его образованію и уму, Бѣлинскій однако отрицалъ у него наличность настоящаго поэтическаго дарованія.

ученія иностранныхъ языковъ. Конечно, вліянію Александры Николаевны слѣдуетъ приписать, что однимъ изъ первыхъ самостоятельныхъ шаговъ Миши были занятія французскимъ языкомъ, которымъ впослѣдствіи онъ и владѣлъ прекрасно.

Встрѣчи ихъ, однако, не могли быть очень частыми. Они должны были заботиться о томъ, чтобы не возбудить чей-нибудь подозрительности. По старинному укладу нашей жизни, все, что мало-мальски выходило изъ обыденной колеи и казалось новшествомъ, возбуждало недоумѣніе и не могло разсчитывать на сочувствіе. Чтобы поддерживать сообщеніе съ Александрой Николаевной, Миша прибѣгнулъ къ оригинальному средству. Между окномъ ея уборной и своимъ онъ ухитрился протянуть тонкую бичевку на блокахъ, по которой они и обмѣнивались книгами и записочками. Долго ли дѣйствовала эта наивная выдумка, я не знаю, но едва ли она могла долго оставаться незамѣченной.

Александръ Николаевичъ не суждено было долго быть жилицей на бѣломъ свѣтѣ. Три года спустя послѣ нашего раздѣла, она скончалась отъ страшной болѣзни — рака. Ей дѣлали три мучительныя операціи. Супругъ ея не особенно горевалъ объ ней и черезъ шесть мѣсяцевъ женился вторично.

Изъ числа представителей образованнаго купечества, довольно рѣдкихъ въ то время, объ нѣкоторыхъ память моя сохранила кое-какое воспоминаніе. Хотя они появлялись у насъ въ домъ не часто, но братья дружили съ ними, и они могли оказывать на нихъ полезное вліяніе. Одинъ изъ такихъ былъ Козьма Ивановичъ Лахтинъ, мужчина лѣтъ 40, про котораго поговаривали, что онъ — волтерьянецъ и масонъ. Лучше сохранился у меня въ памяти обликъ нашего дальняго родственника, Ивана Семеновича Хлопонина. Это былъ симпатичный молодой человѣкъ, получившій образованіе въ нѣмецкой школѣ и служившій въ конторѣ Шульцъ. Я ребенкомъ уже замѣтилъ, какъ онъ умѣлъ хорошо держать себя въ обществѣ и какъ выгодно отличались его манеры отъ другихъ молодыхъ людей нашего круга. Черезъ Хлопонина братья познакомились съ семействомъ Шульцъ, гдѣ имъ пришлось сверстникомъ старшій сынъ, Францъ Ивано-

вичъ, тоже благовоспитанный юноша. У Шульцевъ бывали танцевальныя вечера, на которые приглашались и братья. Тамъ было весело, но поѣздки туда не всегда разрѣшались старшими. Вотъ какъ Миша вспоминалъ впослѣдствіи о различныхъ эпизодахъ этого времени:

„И Сережа, и Володя охотно избѣгали всякихъ экстренныхъ сношеній съ властью, то-есть съ Семеномъ Петровичемъ. Если нужно было о чемъ-нибудь просить, что-нибудь выхлопотать, посылали меня. Чтобы ѣхать, на примѣръ, на Шаболовку, къ нашему пріятелю Францу Ивановичу Шульцу, нужна была лошадь; на это требовалось разрѣшеніе Семена Петровича. Это не всегда было легкимъ дѣломъ. Неровенъ часъ, въ какомъ настроеніи онъ находился. Иногда онъ и зарычитъ, и огрызнется, а все-таки мнѣ удастся выпросить Полкана, „дѣтскую“ лошадь. И съ какимъ мы удовольствіемъ, бывало, укатимъ на весь вечеръ, хоть на нѣсколько часовъ прочь отъ домашняго гнета. Не забудь, что это было время кулачной расправы *par excellence*. Сколько разъ при мнѣ, по самому ничтожному поводу, происходили жестокія рукоприкладства по отношенію къ младшимъ приказчикамъ и мальчишкамъ при лавкѣ! Доставалось и на нашу долю съ Володей. Я хорошо понимаю, что не у насъ однихъ такъ было, что таковы были нравы того времени и однако признаюсь, когда мнѣ приходится теперь встрѣчаться съ Семеномъ Петровичемъ, я не могу подавить въ себѣ тяжелаго и непріязннаго чувства“.

„Случилось какъ-то, что вернувшись поздно съ танцевальнаго вечера у Шульцевъ, мы проспали на слѣдующее утро довольно долго. Подходило время ѣхать въ городъ, а мы еще не были готовы. Весь вопросъ былъ въ какой-нибудь четверти часа, но Семенъ Петровичъ уже два раза присылалъ за нами. Мы спѣшили изо всѣхъ силъ, нервы у насъ были сильно напряжены, а тутъ еще, какъ обыкновенно бываетъ въ такихъ случаяхъ, то у одного куда-то запропастились панталоны, то у другого — жилетка. Вдругъ у насъ сердце замерло. Мы услышали снизу лѣстницы грозный окликъ Семена Петровича, а затѣмъ ступени закрипѣли подъ его тяжелой поступью: онъ шелъ навстрѣчу расправляться съ нами. Почти не сознавая, что я дѣлаю, я схватилъ половую щетку и выбѣжалъ съ ней на лѣстницу. Онъ былъ

ужь на ея половинѣ. „Братецъ! вскричалъ я, дѣлайте съ нами потомъ что хотите, а теперь, если вы двинетесь, я васъ спущу съ лѣстницы“. Онъ остолбенѣлъ, постоялъ нѣсколько секундъ въ раздумѣ, затѣмъ, ворча, повернулъ назадъ и тотчасъ уѣхалъ въ городъ. И мы отправились слѣдомъ за нимъ, ожидая грозы, но онъ ни однимъ словомъ не заикнулся объ этомъ случаѣ, какъ-будто ничего не произошло между нами“.

Одинъ изъ хорошихъ знакомыхъ нашего семейства, Иванъ Алексѣевичъ Смирновъ, рассказывалъ мнѣ впоследствии, какъ на его глазахъ Семенъ Петровичъ „расправлялся“ съ Володицей и Мишей въ сердцахъ на то, что они во-время не были одѣты къ балу по случаю женитьбы брата Сергѣя. А между тѣмъ это уже были молодые люди: одному шелъ 19-й, другому 17-й годъ.

Такимъ образомъ, въ нашей семьѣ развивались элементы протеста противъ „старого режима“. А разъ они появились, ихъ неизбежнымъ послѣдствіемъ должно было рано или поздно произойти коренное распаденіе семьи.

VII.

Общій строй нашей жизни. — Религіозность. — Посѣщеніе церквей.

Я уже говорилъ, что всѣ внутренніе распорядки наши остались такими же, какъ были при отцѣ.

Чай пили около 9 часовъ, послѣ чего младшіе братья торопились въ лавку; старшіе выѣзжали немного позже. Всѣ они обѣдали въ городѣ; остававшіеся дома обѣдали въ 2 часа. Вечерній чай подавался въ 5, ужинъ въ 9 часовъ. За столомъ никогда не бывало ни водки, ни вина, ни закусокъ; ставились только два графина: одинъ съ водой, другой съ квасомъ домашней варки, очень вкуснымъ. Изрѣдка, въ праздники, подавались кислые щи и прекрасный медъ, тоже домашній; шипучій, ароматный, по вкусу совершенно какъ лучший сотовый медъ, онъ казался мнѣ какимъ-то нектаромъ. Но его подавали очень рѣдко и, вѣроятно, въ скорости перестали совсѣмъ варить. Изъ винъ мы имѣли понятіе

о малагѣ и мадерѣ, которыя, однако, употреблялись только при нездоровьи, какъ лѣчебныя средства съ какими-нибудь каплями.

Ничто не измѣнилось и въ отношеніяхъ къ церкви; порядки соблюдались такіе же строгіе, какъ и прежде. Вся семья должна была ходить ко всенощнымъ и обѣднямъ въ праздники и воскресные дни. Уклоненіе отъ этой обязанности допускалось лишь въ рѣдкихъ и исключительныхъ случаяхъ: болѣзни, или экстреннаго, не терпящаго отлагательства дѣла.

При замкнутости семейной жизни и отсутствіи общественныхъ интересовъ, церковь служила центромъ, объединявшимъ небольшой мірокъ прихода. Если прихожане и не были официально знакомы между собой, то во всякомъ случаѣ были другъ другу хорошо извѣстны. Каждое семейство имѣло свое опредѣленное мѣсто. Наше было позади праваго клироса. Мать моя занимала уголокъ у стѣны, я помѣщался передъ ней, а около нея становились невѣстки; мужья ихъ предпочитали стоять поодаль, у свѣчнаго ящика, рядомъ съ церковнымъ старостой. Въ лѣтней, холодной церкви Благовѣщенія, на стѣнахъ надъ нами, были изображены евангельскіе эпизоды: исцѣленіе слѣпого и лепты вдовицы, а въ зимней, въ простѣнкѣ между окнами, около насъ находилась большая икона московскихъ святителей Петра, Алексія и Іоны въ позолоченной ризѣ. Когда и къмъ поставлена эта икона, мнѣ неизвѣстно, но я убѣжденъ, что она не даромъ помѣщалась около нашего стараго мѣста и для меня отношеніе ея къ моему отцу не подлежитъ сомнѣнію, такъ какъ день его ангела праздновался именно въ день памяти упомянутыхъ святыхъ, 5-го октября. Икона эта служила постояннымъ предметомъ моего дѣтскаго любопытства. Посрединѣ ея, на большомъ полѣ, изображены были во весь ростъ три угодника, а кругомъ, на мелкихъ поляхъ, — отдѣльныя событія изъ ихъ житія; внизу, на уровнѣ моихъ глазъ, приходились изображенія обрѣтенія ихъ мощей, съ лежащими и стоящими фигурами. Я усиленно разглядывалъ ихъ, стараясь выискнуть въ ихъ смыслъ, и долгое время безуспѣшно: надписи были неразборчивы, и понять было трудно, что изображали темные лики и руки, глубокими впадинами выдѣлявшіеся на сверкающемъ отъ свѣчей золотомъ фонѣ ризы.



Посѣщеніе церкви имѣло не только смыслъ религіозный, но служило и къ поддержанію общественнаго инстинкта, давая возможность видѣться съ сосѣдями, перекинуться словечкомъ со знакомыми, узнать мѣстную новость, а дамамъ, кромѣ того — рассмотреть или показать новый покрой мантильи или моднаго цвѣта платье. Это было особенно важно для моей матери, которую глухота лишала возможности выѣзжать. Всякое мелочное наблюденіе было для нея цѣнно и давало матеріалъ для разспросовъ и разговоровъ.

— Что бы такое значило, что Ольги Семеновны не было нынче у обѣдни? спрашивала мать.

— Развѣ не было? отзывался кто-нибудь. А какъ-будто она была.

— Не была! Я нарочно въ ихъ сторону поглядывала. Была Авдотья Васильевна, Петръ Петровичъ, Иванъ Петровичъ, Катерина Гавриловна, а ея не было. Ужъ здорова ли?

— Кажется, ничего такого про нее не слышно. Ужъ не уѣхала ли на богомолье куда?

— Развѣ собиралась? Недавно была у меня Аграфена Харлампіевна. Она ничего не говорила.

— Не была ли она у Петра и Павла въ приходѣ, съ Сорокоумовскими вмѣстѣ?

— Въ такой-то праздникъ? Неужели отъ своего прихода ушла? Какъ-будто не очень складно...

Въ другой разъ между дамами можно было прислушаться къ такому разговору:

— А на Кочетковой-то (имя рекъ) новое платье было, сѣрое съ оборками. Ничего, сидитъ на ней складно, и фасонъ хорошъ, мнѣ нравится, — говоритъ моя мать.

— Что вы, что вы! возражаетъ сестра Надежда Петровна, отчасти жестами, отчасти писаніемъ на грифельной доскѣ. Это платье я на ней видѣла еще въ прошломъ году, за обѣдней въ Усѣкновеніе Главъ. Фасонъ старый, ужъ теперь съ оборками не носятъ.

— Да вы о какомъ говорите?

— О сѣромъ пудесуа...

— Ахъ, это не то! То, что я видѣла, это навѣрное гроденаплъ. У Прохоровой раньше похожее было. Что хотите, это — гроденаплъ.

И такъ далѣе.

Въ теченіе Великаго Поста всѣ должны были говѣть. Предварительно шли разговоры, какъ распределить всю семью по разнымъ недѣлямъ, чтобы не всѣхъ отрывать отъ дома за разъ. На первой и послѣдней недѣляхъ говѣльщики и неговѣльщики должны были ходить ко всѣмъ службамъ безъ исключенія. По средамъ и пятницамъ, а также во всѣ посты мы ѣли рыбное, на первой же и страстной недѣляхъ Великаго поста и въ сочельники и рыба исключалась: питались картофелемъ, грибами, капустой, горохомъ и т. п.

Наканунѣ нѣкоторыхъ небольшихъ праздниковъ, имѣвшихъ для насъ семейное значеніе, когда церковной службы не полагалось, напѣ причтъ приглашался на домъ служить всенощную. Въ углу второй гостиной на большомъ коврѣ ставили столъ, покрытый бѣлой скатертью, и устанавливали иконы, теплившіяся лампы и зажженные восковые свѣчи. Гостинная понемногу наполнялась всѣми домочадцами. Священникъ и дьяконъ облачались и начинали служеніе; дьячекъ, не переставая пѣть, ходилъ безпрестанно въ переднюю за угольями для кадила; голубой дымъ ладана вился и, разстилаясь слоями, наполнялъ весь домъ благоуханіемъ.

По крайней мѣрѣ одинъ разъ въ году въ домъ приглашалась Иверская. Это составляло событіе и обыкновенно происходило лѣтомъ. Всѣ домашніе высыпали на дворъ встрѣчать Владычицу. Когда пріѣзжала огромная карета, ее окружали со всѣхъ сторонъ и при благоговѣйномъ молчаніи, нарушаемомъ только вздохами благочестивыхъ старушекъ, начинали выгружать икону. Меня заставляли наравнѣ съ другими членами семейства падать ницъ, а икона проносилась надъ нашими спинами мощными руками кучеровъ и дворниковъ. Эта же церемонія повторялась и при отъѣздѣ.

Рождество и Пасха, кромѣ визитовъ, вносили еще особое оживленіе: пріѣзжало духовенство изъ разныхъ приходовъ, къ которымъ еще отецъ по тѣмъ или другимъ основаніямъ имѣлъ прикосновенность, а также монахи изъ монастырей, гдѣ были похоронены наши родственники или куда наши ѣздили на богомолье. Безпрестанно изъ залы доносились праздничныя пѣснопѣнія на разные голоса. Я думаю, что пріемъ многочисленнаго духовенства входилъ въ условія хорошаго тона среди тогдашняго купечества. Мнѣ особенно

връзались въ память монахи изъ Симонова. Они прѣзжали въ двухъ экипажахъ, человѣкъ шесть, большей частью рослые и здоровые. Уже одно появленіе такого числа духовныхъ особъ въ длинныхъ черныхъ мантияхъ и высокихъ черныхъ клобукахъ, ихъ важная, степенная осанка, сдержанное откашливанье и тяжелые шаги по залѣ вызывали во мнѣ чувство особаго уваженія, близкаго къ робости. Мнѣ очень нравилось ихъ пѣніе. У нихъ былъ особенный напѣвъ вполголоса, какимъ-то сдержаннымъ полупотомъ, не повышая и не понижая голосовъ. Тихая и однотонная, какъ бы задумчивая гармонія въ исполненіи однихъ басовъ производила глубокое впечатлѣніе. Въ ней было что-то аскетическое, безстрастное, почти отвлеченное, что стремится къ небу, выше и выше, дальше отъ земли и ея буйныхъ тревогъ...

Отъ времени до времени мать моя въ сопровожденіи кого-нибудь изъ старшихъ братьевъ ѣздила на богомолье къ Троицѣ, въ Берлюковскую и Екатерининскую пустыни и т. п. Меня еще куда никуда не брали.

... Золотые сны моего дѣтства! Вспоминаю васъ съ умиленіемъ и повременамъ отдаюсь сладкой думѣ о чудныхъ образахъ, розовыхъ грезахъ и райскихъ картинахъ, которыя рисовало мое воображеніе. Онѣ и были возможны только въ дѣтскомъ возрастѣ. Сотканныя изъ тончайшаго воздушнаго кружева, онѣ блѣднѣютъ съ годами и пропадаютъ, наконецъ, безслѣдно при прикосновеніи съ грубой дѣйствительностью. Таковы и первыя представленія, связанныя съ зарожденіемъ религіознаго чувства, источника первой поэтической космогоніи. Оно безцѣнно, какъ элементъ развитія для дѣтской души, наивно и доверчиво глядящей въ міръ, склонной видѣть во всемъ одно добро, открытой для безконечной любви. Какъ надо оберегать это святое чувство въ молодыхъ головкахъ!... Слишкомъ рано приходитъ пора колебаній и сомнѣній... Но и тогда въ самой измученной и несчастной душѣ останется завѣтный уголокъ, гдѣ будетъ теплится воспоминаніе о когда-то прозвучавшихъ дивно торжественныхъ аккордахъ. И счастливы тѣ, кто слышалъ когда-нибудь эту небесную гармонію. Какое это утѣшеніе среди житейскихъ бурь и безконечныхъ разочарованій!...

Богомольность моей матери и няни имѣла на меня большее вліяніе; я сталъ самъ богомольнымъ и набожнымъ мальчикомъ. Няня выучила меня и грамотѣ, и первымъ молитвамъ: съ самаго ранняго возраста я читалъ напамять не только главные молитвы, но и длинный псаломъ „Помилуй мя, Боже“. Хотя меня въ это время вовсе не принуждали посѣщать церкви, я очень любилъ ходить по праздникамъ къ поздней обѣднѣ. Такъ какъ въ нашемъ приходѣ Іоакима и Анны позднихъ обѣденъ не было, то приходилось ходить по чужимъ приходамъ. Особымъ удовольствіемъ было попасть въ какую-нибудь новую церковь, еще не виданную. Въ то время приходы съ поздними обѣднями составляли рѣдкость и были извѣстны наперечетъ: вообще при митрополитѣ Филаретѣ позднія обѣдни считались чѣмъ-то въ родѣ поправки людской лѣни и не особенно одобрялись ревнителями благочестія. Поэтому разнообразить мои впечатлѣнія съ этой стороны мнѣ почти не удавалось. Тогда я упросилъ отпускать меня съ няней къ вечернямъ. Это значительно расширило кругъ нашей дѣятельности. Частенько рвеніе мое завлекло насъ въ улицы довольно отдаленныя. Я любилъ созерцать новыя обстановки, новыхъ священниковъ, новыя иконы, по поводу которыхъ няня вдавалась въ объясненіе, что такое, напримѣръ, „Троеручица“, или „Неувядаемый цвѣтъ“, или „Нечаянная радость“. У меня составилъ понемногу страницъ на трехъ или четырехъ длинный перечень церквей, въ которыхъ я побывалъ. Сильно насъ ограничивали разстоянія. Иногда няня скажетъ, напримѣръ:

— Очень ужъ красива церковь Рождества въ Путинкахъ. Множество главъ и все въ старинномъ вкусѣ. А какая отдѣлка?! Одна красота, залюбуешься!

— Ахъ, няня, попроси маменьку насъ туда отпустить! — восклицаю я.

— Нелзя, батюшка, это не близко, ножки не дойдутъ, а тамъ еще стоять надо.

Лошадей намъ для нашихъ экскурсій не давали, а на извозчикахъ почему-то не принято было ѣздить. Чаше всего мы хаживали къ поздней обѣднѣ къ Скорбящей, на Ордынку, благо обѣдня тамъ начиналась въ 11 часовъ, ради важныхъ барынь, для которыхъ этотъ храмъ былъ какъ бы привилегированнымъ убѣжищемъ. Тамъ хорошо пѣли и слу-

щурившись, съ наслажденіемъ понюхаетъ табакъ изъ большой круглой табакерки. Мнѣ нравились сказки длинныя, и я бывало недоволенъ, когда няня приходила звать Флѣнушку обѣдать или чай пить — изъ-за этого нить повѣствованія перерывалась иногда на самомъ интересномъ мѣстѣ, — но зато это значило, что Флѣнушкѣ еще не пришла пора уходить, что она вернется и доскажетъ сказку. А ужъ она ни за что не уйдетъ, не досказавши.

Всякая сказка должна была неизбѣжно кончаться словами: „И я тамъ была, медъ пила, по усамъ текло, а въ ротъ не попало“. Послѣ этого я зналъ, что сказкѣ наступилъ рѣшительный конецъ и что Флѣнушкѣ пора уходить во-свояси.

Иногда мы садились втроемъ играть въ карты: это куда веселѣе, чѣмъ вдвоемъ съ няней. А ужъ если у насъ найдется кто нибудь четвертый, тогда я внѣ себя отъ радости: тогда составляются „короли“, моя любимая игра. Тутъ я, грѣшнымъ дѣломъ, и поплачу, если долго не удастся попасть въ короли или принцы, но зато какая радость, если я первый заберу тринадцать взятокъ и меня поздравятъ королемъ. Слѣдующую сдачу я уже не удостоиваю играть, покажѣсть не выяснится, кому быть принцемъ. А потомъ, когда у меня борьба загорится съ этимъ враждебнымъ принцемъ, какъ радуешься, когда солдатъ преподноситъ въ видѣ дани козырного туза! А какъ грустно, когда у самого на рукахъ карты дрянныя да еще и солдатъ угодить семеркой! Видишь, проиграно дѣло: и у себя ничего, и въ солдатѣ нѣтъ поддержки. И малодушно въ припадкѣ отчаянія, я крещусь подъ столомъ и мысленно молюсь: „Господи Іисусе, Никола-Чудотворецъ! заступите и сохраните!“ А вѣдь мнѣ говорено, что грѣшно молиться за картами: это мнѣ нѣсколько разъ твердила няня, — но что же дѣлать, очень ужъ соблазнъ великъ!...

Наступаетъ вечеръ. „Пора, батюшка!“ Флѣнушка встала, набрасываетъ себѣ на голову платокъ и закалываетъ его булавкой подъ подбородкомъ. Какъ мнѣ жалко Флѣнушку! „Флѣнушка, приходи поскорѣе опять!“

Флѣнушка обѣщаетъ придти скоро-скоро, рассказать новую, хорошую, а главное — длинную сказку, благодарить за хлѣбъ за соль, цѣлуетъ меня, троекратно лобызается съ няней и уходить. Ахъ, какъ мнѣ скучно, что она такъ скоро ушла! Все бы мнѣ слушать ее... И чувствую мое сердце, что Флѣнушка

это только такъ сказала, что скоро вернется, для моего утѣшенія... Она не вернется долго, небось раньше Свѣтлаго Воскресенья ее не увидимъ: она „честь знаетъ“, не любить надоѣдать...

Однажды пришелъ и Свѣтлый праздникъ. Я ждалъ ее и все спрашивалъ, когда же она придетъ, отчего она опоздала. Сперва молчали, а потомъ кто-то проговорился, что Флѣнушка никогда больше не придетъ, потому что Флѣнушка умерла...

Кромѣ Флѣнушки были другія старухи, появлявшіяся въ домѣ въ торжественные дни, но я изъ нихъ никого не любилъ, потому что онѣ не умѣли рассказывать сказокъ.

Приходила Мѣрковна, вѣковѣчная послушница Алексѣевского монастыря, старуха съ грубымъ лицомъ, покрытымъ пятнами не то отъ природы, не то отъ грязи. Она ходила вся закутанная въ какой-то черный халатъ, перетянутый поясомъ, съ головой завернутой въ огромный платокъ. Отъ нея всегда разило какой-то кислотой; казалось, она никогда не мылась и не мѣняла бѣлья. Сидитъ, бывало, и все только выпрашиваетъ у няни обо всемъ, что у насъ дѣлается въ домѣ, а на меня не обращаетъ вниманія.

Была еще Наталья Ивановна, доводившаяся намъ дальней родственницей. Ходила она всегда въ поношенной шали съ красными тюльпанами на желто-сѣромъ фонѣ — подарокъ моей матери. У Натальи Ивановны было широкое глуповатое лицо, огромный ротъ и сильно выраженная сладкая черта около губъ. Какъ увидитъ меня, такъ и кинется ко мнѣ:

„Ахъ, вотъ онъ — голубчикъ мой, золотой, красное солнышко, ненаглядный, безцѣнный! Какъ я по тебѣ соскучилась, изумрудъ ты мой брилліантовый!“

И пойдетъ меня обнимать и цѣловать, и конфетку суетъ въ руку. А мнѣ все это почему-то непріятно. Стою передъ нею истуканомъ, и ничего не хочется сказать ей въ отвѣтъ. Несмотря на ласковыя рѣчи, не любилъ я Наталью Ивановну въ ея сѣро-желтой шали съ крупными тюльпанами... Можетъ быть потому, что уже слишкомъ много меду было въ ея рѣчахъ...

IX.

Домашняя гигиена и медицина.

Я много хворалъ въ дѣтствѣ. Кажется, меня не миновала ни одна изъ болѣзней свойственныхъ дѣтскому возрасту. Быть можетъ, эта восприимчивость къ заболѣваніямъ происходила отчасти отъ того, что я мало пользовался воздухомъ, а все сидѣлъ въ комнатахъ: зимою, на примѣръ, меня выпускали только при небольшомъ морозѣ къ обѣднѣ, а гулять совсѣмъ не водили. Ни о какихъ микробахъ тогда не было и рѣчи, а пуще всего боялись простуды, какъ послѣдствія быстрого охлажденія. Какъ въ большинствѣ и другихъ домовъ, у насъ мало заботились о вентиляціи: форточки хотя и были кое-гдѣ, но открывались лишь въ исключительныхъ случаяхъ, на примѣръ, когда надымить печь или самоваръ. Отхожія мѣста для взрослыхъ мужчинъ были холодныя, со столъчаками, часто въ особыхъ пристройкахъ. Содержались они далеко не въ образцовомъ порядкѣ. Мнѣ передавали трагикомическій случай, что во время торжествъ по случаю свадьбы Ивана Петровича самъ новобрачный чуть не провалился въ отхожемъ мѣстѣ вслѣдствіе того, что подъ нимъ подломилась гнилая половая доска. Первый теплый ватерклозетъ съ промывной водой былъ устроенъ уже въ домѣ моей матери около 1860-го года. Это новшество удостоилось такого общаго вниманія, что его показывать водили гостей. Были, разумѣется, между ними такіе, которые находили это нововведеніе праздною и лишней затѣей.

Если замѣчали, что въ комнатахъ нехорошъ воздухъ, то прибѣгали не къ обновленію его посредствомъ притока наружнаго воздуха, а къ вящшей его порчѣ, посредствомъ куренія „смолкой“, уксусомъ, „монашенками“, мятой или духами амбре, лишь бы заглушить дурной запахъ. Для сей цѣли носили по комнатамъ раскаленный въ печи кирпичъ, опрыскивая его требуемой спеціей. Всѣмъ ли однако извѣстно, что такое „смолка“? Такъ назывался конусообразный футляръ изъ бересты, вершка въ 4—5 вышины, наполненный какимъ то составомъ, куда входила главнымъ образомъ сосновая смола. Держа конусъ вершиной книзу, на основаніе его возлагали горячій уголекъ и, поддерживая въ немъ го-

рѣніе раздуваніемъ, медленно ходили по комнатамъ: смолистый составъ плавился, шипѣлъ и, испаряясь, наполнял своимъ ароматомъ домъ. Такими средствами достигалась дезинфекція.

У насъ лѣчили разные врачи. Помню почтеннаго Герасима Ивановича Кораблева, нашего стараго домашняго доктора еще при отцѣ¹⁾. Призывался ко мнѣ изъ Голицынской больницы Евдокимъ Ивановичъ Тихомировъ, мужчина крупный, говорившій теноркомъ, кажется, очень добрый, про котораго однако поговаривали, что онъ любитъ потчивать пациентовъ „лошадиными“ дозами. Бывалъ частный полицейскій врачъ Вертесъ. Однажды меня лѣчилъ какой-то гомеопатъ.

Обыкновенно у насъ обращались къ помощи врачей уже въ случаѣ опредѣлившейся болѣзни, съ которой не удавалось сладить своими средствами. Иногда эти средства были „симпатическія“. „Заговоръ“ считался дѣйствительнымъ средствомъ противъ зубной боли и противъ бородавокъ: для этого носились на тѣльномъ крестѣ ладанки, бумажки, камешки. Когда у меня былъ жаръ, мнѣ привязывали на ночь къ подошвамъ по селедкѣ: селедки должны были „жаръ вынимать“. Градусника тогда не знали, а опредѣляли болѣзнь по осмотру языка и оцупыванію пульса и головы. Насморкъ и кашель лѣчили тѣмъ, что накапаютъ на синюю (непремѣнно синюю) сахарную бумагу сала и привязуютъ къ груди на ночь, или обернуть шею заношеннымъ (никакъ не новымъ) шерстянымъ чулкомъ. Въ тѣхъ же случаяхъ поили горячимъ отваромъ мяты или липоваго цвѣта, чтобы „пропотѣть“. Если человѣкъ бился „животомъ“, его поили капустнымъ или огуречнымъ рассоломъ, квасомъ съ солью или давали ѣсть моченой груши. Если болѣла голова, ставили къ затылку горчичникъ. Полнокровнымъ, страдавшимъ приливами, „кидали“ кровь хоть одинъ разъ въ году и непремѣнно въ опредѣленное, одинаковое время года — и кровь послѣ этого переставала „проситься“. Вообще въ чудодѣйственную силу кровопусканія, пиявокъ и банокъ всѣ безусловно вѣрили и считали эти средства панацеями во множествѣ болѣзней воспалительнаго характера. Иногда больной, лежа почти въ бреду, самъ умолялъ, чтобъ ему пустили кровь. Для этой цѣли приглашался экстренно домашній цырюльникъ, приходившій въ опредѣленные дни

¹⁾ См. 2-ю часть, примѣчаніе на стран. 119.

брить бороды и усы у мужской половины семейства. Для читателей, незнакомых съ тогдашними порядками, прибавлю, что при Николаѣ I ношеніе усовъ составляло привилегію однихъ военныхъ, а лицамъ другихъ сословій безусловно воспрещалось; ношеніе же бороды разрѣшалось только крестьянамъ и лицамъ свободныхъ состояній, достигшихъ болѣе или менѣе почтеннаго возраста, а у молодыхъ признавалось за признакъ вольнодумства. На такихъ старшіе всегда поглядывали косо. Чиновники всѣхъ гражданскихъ вѣдомствъ обязаны были гладко выбривать все лицо; только тѣ изъ нихъ, кто уже успѣлъ нѣсколько повыситься на іерархической лѣстницѣ, могли позволить себѣ ношеніе короткихъ бакенбардъ около ушей (*favogis*), и то лишь при благосклонной снисходительности начальства.

На дачѣ мы никогда не жили. Дачи въ то время были новшествомъ, принятымъ только въ кругу очень богатыхъ и эманципированныхъ купцовъ: такъ, на примѣръ, Алексѣевы и Шестовы уже давно обзавелись своими дачами въ Сокольникахъ. Конечно, дачная жизнь и не могла развиваться въ виду полного недостатка въ средствахъ сообщенія. Теперь вызываетъ невольную улыбку одно упоминаніе о нѣкоторыхъ дачныхъ мѣстностяхъ того времени. Такъ, мать моя припоминала, что на дачахъ жили, на примѣръ, на Дѣвичьемъ полѣ, подѣ Нескучнымъ и т. п. У насъ первый опытъ этого рода былъ сдѣланъ Иваномъ Петровичемъ, переѣхавшимъ на лѣто 1849 года въ село Волинское, имѣніе Хвощинскихъ. Моя мать, выросшая въ городѣ, никогда не любила дачной жизни, и въ послѣдствіи, когда ей приходилось гостить у кого-нибудь изъ сыновьевъ, дѣлала это исключительно „изъ чести“, чтобъ сдѣлать имъ удовольствіе, и ограничивала обыкновенно свое пребываніе короткимъ промежуткомъ времени. Какъ истую горожанку, ея не плѣняли ни перспективы полей и лѣсовъ, ни благоуханіе травъ, ни прелесть лѣтняго вечера: она тотчасъ находила, что „сыро“ и удалялась въ комнаты. Ее крайне беспокоили комары, мошки и пауки; пыльной деревенской дорогѣ она безъ всякаго сравненія предпочитала чистенькія дорожки своего сада, твердо утрамбованныя и посыпанныя краснымъ воробьевскимъ пескомъ.

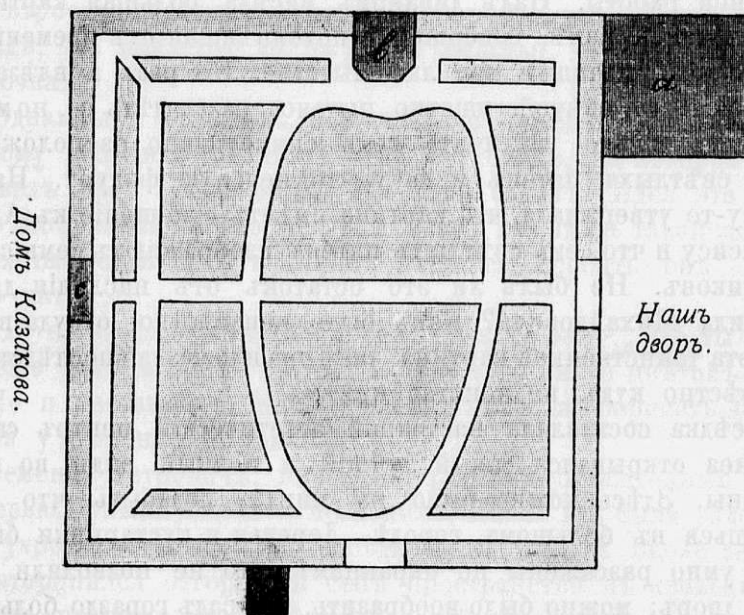
X.

Отцовскій садъ.

Было бы съ моей стороны неблагодарностью не упомянуть особо о старомъ отцовскомъ садѣ. Съ этимъ клочкомъ земли соединено у меня столько свѣтлыхъ воспоминаній, что ихъ не могли изгладить всѣ сверкающія красоты южныхъ странъ: на немъ я учился любить природу.

Нельзя сказать, чтобы былъ ужъ очень малъ старый садъ моего отца, столь имъ любимый. По формѣ близкій къ квад-

Полянскій переулочъ.



Планъ отцовскаго сада до 1855 года.

Масштабъ въ дюймъ 5 сажень.

a — баня, b и c — бесѣдки, d — колодезь.

рату, онъ занималъ около 250 квадратныхъ сажень, что для большого города недурно, и былъ распланированъ на французскій образецъ. Съ двухъ сторонъ его охватывалъ дворъ, третьей — онъ прилегалъ къ Полянскому переулку, а четвертой — упирался въ высокую глухую стѣну трехэтажнаго дома

Казакова¹⁾). Эта огромная, когда-то бѣлая поверхность съ бурыми пятнами осыпавшихся кирпичей и множеством дыръ, въ которыхъ ютились стрижи, отгораживала наше владѣніе съ юга, затѣняя собою примыкавшую къ ней часть сада. Солнечные лучи рѣдко заглядывали сюда; поэтому въ аллеѣ изъ акацій подѣ стѣной всегда пахло свѣжестью. Аллея, сдерживаемая съ боковъ рѣшетникомъ, выкрашеннымъ въ зеленую краску, тянулась и вдоль переулка, около забора, и упиралась тутъ въ большую бесѣдку, когда-то любимое мѣсто отдохновенія моего отца. Двери и окна бесѣдки были небольшихъ размѣровъ, а потому внутри ея всегда царствовалъ полумракъ и пріятная прохлада. Мебель состояла изъ большого дивана и деревянныхъ рѣшетчатыхъ креселъ топорной работы. Надъ диваномъ висѣла большая картина въ золоченой рамѣ, совершенно потемнѣвшая отъ времени и сильно возбуждавшая мое любопытство. Не разъ я влѣзалъ на диванъ со свѣчой, тщетно пытаясь разглядѣть ее, но мнѣ удавалось только различить семь симметрично расположенныхъ свѣтлыхъ пятенъ и какую-то неясную фигуру. Няня, почему-то утверждала, что картина имѣетъ отношеніе къ Апокалипсису и что семь свѣтлыхъ пятенъ изображаютъ семь свѣтильниковъ. Не былъ ли это остатокъ отъ наслѣдія дяди Михаила Михайловича? Какъ было неизвѣстно, откуда взялась эта таинственная картина, такъ она и исчезла въ послѣдствіи неизвѣстно куда, не понятая никѣмъ.

Бесѣдка составляла настоящій эстетическій центръ сада: отъ нея открывался самый лучший и полный видъ во всѣ стороны. Здѣсь можно было на минуту позабыть, что находишься въ большомъ городѣ. Деревья и кустарники были такъ умно разсажены по окраинамъ, что не позволяли видѣть дворъ; можно было вообразить, что садъ гораздо больше, чѣмъ въ дѣйствительности. Передъ бесѣдкой разстилался большой газонъ съ цвѣтовыми клумбами, яблонями и грушами. Фруктовые деревья, особенно китайскія яблони, составляли осенью предметъ моихъ тайныхъ вожелѣній и постоянныхъ распрей съ няней. Направо, на заднемъ планѣ,

¹⁾ Въ 1904 году бывшій Казаковскій домъ состоялъ во владѣніи Боролина и на воротахъ, выходящихъ на Малую Якиманку, значился подѣ № 580/667. По наружности онъ нисколько не измѣнился. О Казаковѣ упоминалось во 2-ой части „Свѣдѣній“, на стран. 125.

высился великанъ всего сада: старый серебристый тополь, высоко раскинувшій свою ширококовѣтвистую крону. Вмѣстѣ съ своими двумя братьями, расположенными въ другихъ углахъ, онъ составлялъ остатокъ какого-то древняго насажденія, существовавшего еще до французовъ и пощаженного при новой планировкѣ сада.

Таковъ былъ нашъ садъ, мѣсто моихъ дѣтскихъ игръ съ милыми товарищами, дѣтьми Ивана Петровича, Петей и Анютой¹⁾). Жили мы дружно и весело. Среди разросшихся акацій и кустовъ сирени было много укромныхъ уголковъ, гдѣ можно было отлично играть въ прятки. Когда у брата Семена родилась дочка Катя, намъ было сказано, что бабушка-повитушка нашла ее у насъ въ саду подѣ піонами. И вотъ мы втроемъ сбились съ ногъ, обшаривая всѣ уголки въ надеждѣ, не найдется ли на наше счастье другая маленькая дѣвочка.

Однажды я вычиталъ въ какой-то дѣтской книжкѣ, что одному мальчику родители отвели уголокъ, на которомъ онъ развелъ свой собственный чудесный садикъ. Идея эта такъ мнѣ понравилась, что я сталъ спать и видѣть такой же собственный садикъ, и наконецъ рѣшился просить объ этомъ мою мать.

„И на что это тебѣ, батюшка?“ сказала она. „Что ты тамъ будешь сажать, когда въ саду и безъ того много цвѣтовъ?!“...

Но я настаивалъ. Мать моя посовѣтовала испросить дозволенія у Семена Петровича.

Семенъ Петровичъ, вѣроятно, уже предупрежденный моей матерью, улыбнулся и — позволилъ. Какая это была радость! Въ укромномъ мѣстѣ, за бесѣдкой, на клумбѣ около акацій я поторопился отгородить себѣ пространство въ квадратную сажень, натыкалъ тамъ вѣтокъ акацій, нарванныхъ цвѣтовъ, поставилъ лавочку и — сталъ наслаждаться своимъ собственнымъ садомъ. Восторги мои были непродолжительны. Какъ ни усердно я поливалъ мои насажденія, беря примѣръ съ садовника, но чрезъ нѣсколько дней все у меня поблекло и

¹⁾ Въ настоящее время, послѣ того какъ подѣ постройку сарая отошла широкая полоса сада у стѣны, а въ остальной части измѣнено расположеніе дорожекъ и появились новомодные гротъ и фонтанъ, отцовскій садъ сталъ неузнаваемъ. Только два старые серебристые тополя напоминаютъ еще давно-прошедшихъ временахъ.

засохло, составляя печальный контрастъ съ жизнерадостнымъ впечатлѣніемъ всей остальной растительности. Это было одно изъ первыхъ разочарованій моей жизни.

Старшіе братья почти не пользовались садомъ. Я не помню, чтобы кто-нибудь изъ нихъ когда-нибудь заглянулъ туда на продолжительное время; гуляли въ немъ только мы, дѣти, да мать моя. Никогда въ саду мы не обѣдали и очень рѣдко пили чай: это было не въ обычаѣ. Мать моя страшно боялась сырости и бывало, при закатѣ солнца, едва только въ воздухѣ появлялись первые признаки скудной росы, немедленно водворяла меня въ домъ.

И почему-то въ мою память особенно врѣзались эти вечернія минуты.

Помню какъ мы входили въ садъ днемъ. Солнце свѣтитъ прямо въ лобъ и палитъ немилосердно, заливая своими лучами дорожки. Я жмурюсь отъ невыносимаго свѣта. Мы торопимся въ тѣнь, подъ акаціи, но передъ этимъ я не могу удержаться, чтобы не сорвать жесткій зеленый стебель дикой спаржи и сосу его, несмотря на протесты няни. Обыкновенное наше мѣстопробываніе — старая отцовская бесѣдка и площадка передъ нею. Тутъ я копаюсь въ пескѣ, бѣгаю съ Петей и Анютой или разбираю азбуку.

Но эти минуты мнѣ не такъ памяты, — можетъ быть потому, что были болѣе обыкновенны. Больше всего остались у меня въ памяти впечатлѣнія вечера, непосредственно предшествовавшія возвращенію въ домъ. Громадная стѣна Казаковского дома еще играетъ въ желтыхъ и оранжевыхъ лучахъ заката, тогда какъ весь садъ уже ушелъ въ тѣнь. Повѣяло свѣжестью. Отъ всякаго цвѣтка, отъ всякой травинки несутся чудные ароматы, какъ будто весь растительный міръ вздохнулъ свободно послѣ денной истомы. И въ это время надъ моей головой раздается громкое и дружное стрекотанье: это стрижи Казаковского дома вылетѣли на вечернія игры. Высоко рѣютъ ихъ стаи, описывая большіе круги. Бойкія птички наполняютъ воздухъ своимъ веселымъ крикомъ, похожимъ на восторженную пѣснь прощанья съ заходящимъ свѣтиломъ. Они какъ будто кричатъ солнцу: „прощай до завтра. Завтра мы опять будемъ счастливы!“...

И съ этихъ поръ у меня съ вечерними пѣснями стрижей соединено невыразимое чувство. Я не могу ихъ слышать равно-

душно, и ихъ непрехотливые и рѣзкіе звуки мнѣ не менѣе любезны, чѣмъ пѣсни жаворонка или соловья. Гдѣ-бъ я ни услышалъ этихъ милыхъ птицъ, я непременно останавлиюсь; долго слѣжу за ихъ сильнымъ и быстрымъ полетомъ и жадно прислушиваюсь къ ихъ задорной пѣснѣ, вызывающей къ жизни и свободѣ.

XI.

„На монастырь“. — Слободка на „Канавѣ“. — Каменные мосты. — Александровскій садъ. — Наша лавка въ Золотокружевномъ ряду. — „Торговая казнь“.

Когда намъ съ няней разрѣшалось выходить для прогулокъ за ворота нашего дома, мы охотно посѣщали дворы при церквахъ, такъ называемые „монастыри“, особенно тѣ, которые были попросторнѣе и гдѣ было побольше зелени. Таковы были, напр., „монастыри“ при церквахъ Спаса въ Наливкахъ, Іоанна Воина. Они замѣняли собою публичные сады, которыхъ, какъ извѣстно, въ Замоскворѣчьи не существуетъ. Тутъ, бывало, копошится цѣлый рой дѣтей, составлявшихъ своими пестрыми костюмами, веселыми криками и подвижностью хотя рѣзкій, но не непримиримый контрастъ со святостью мѣста. Напротивъ, нельзя было не сознавать извѣстной гармоніи между той видимой жизнью, которая ключемъ кипѣла въ шумной дѣтвортѣ, и невидимымъ благимъ присутствіемъ Того, который самъ любилъ дѣтей и желалъ, чтобы имъ не препятствовали подходить къ Нему, „ибо ихъ есть Царство Небесное“...

Иногда мы ходили въ Александровскій садъ. Дорога наша шла мимо оригинальнаго уголка старинной Москвы, теперь не существующаго. Берегъ Водоотводнаго канала, — или „Канавы“, какъ у насъ всегда выражались, — представляетъ въ настоящее время между Большой Якиманкой и Малымъ Каменнымъ мостомъ площадь, вымощенную булыжникомъ, а тогда на этомъ мѣстѣ тянулся цѣлый рядъ ветхихъ деревянныхъ домиковъ, одно-и двухъэтажныхъ, обращенныхъ фасадами къ улицѣ. Крайне архаическаго вида, выпцвѣтшіе, всѣ однообразнаго сѣраго оттѣнка, покосившіеся и покривившіеся, они стояли, словно насупившіеся. Нѣкоторые еще были обитаемы, другіе, очевидно брошенные

на произволъ судьбы, медленно гнили и разрушались подъ вліяніемъ стихій. Тѣ, въ которыхъ жить было невозможно, съ провалившимися крышами и выбитыми стеклами, съ забитыми досками дверями, все стояли, какъ будто выжидая, пока развалится и ихъ сосѣди. Эти жалкія строенія производили такое впечатлѣніе, что даже моя несовершенная наблюдательность останавливалась на нихъ, недоумѣвая: почему они остаются на мѣстѣ, когда ихъ никто не хочетъ поддерживать? Весною, въ половодье, набережная обыкновенно затоплялась, и тогда слободка эта превращалась въ настоящій островъ. Наводненія бывали иногда очень сильныя. Я помню годъ, когда вода доходила по Большой Якиманкѣ почти до самой церкви Іоакима и Анны.¹⁾ Вѣроятно, вслѣдствіе этой причины, власти уже тогда рѣшили очистить это мѣсто и слободку уничтожить; владѣльцамъ было предоставлено лишь право доживать, пока возможно, въ своихъ домахъ, не ремонтируя ихъ. Слободка эта безслѣдно исчезла съ лица земли въ концѣ 50-хъ или началѣ 60-хъ годовъ.

Въ то время такъ называемые „Каменные мосты“ — „Большой“ на Москвѣ рѣкѣ и „Малый“ на „Канавѣ“ — дѣйствительно были каменными, а не только топографическими названіями. Большой Каменный мостъ былъ выстроенъ горбомъ, съ сильнымъ подъемомъ отъ береговъ. Посрединѣ его находился главный проѣздъ для экипажей, вымощенный булыжникомъ; по бокамъ были широкіе, сажени въ двѣ, проходы для пѣшеходовъ, вымощенные плитами и отгороженные отъ середины моста и отъ рѣки каменными брусстерами. Я очень любилъ ходить этими проходами, представлявшими настоящіе коридоры между двумя стѣнами, но это удовольствіе выпадало на мою долю очень рѣдко: по соображеніямъ общественной безопасности проходы почти всегда были загорожены рогатками, и пѣшеходамъ предоставлялось шествовать по среднему проѣзду, предназначенному для экипажей. Содержался мостъ крайне неопратно: ни пыль, ни грязь съ него никогда не сметались. Особенно грязны были боковые проходы, на которыхъ пыль и соръ лежали большими ку-

¹⁾ Только наводненіе 1908 года превзошло размѣрами упоминаемое здѣсь наводненіе 1856 года.

чами. При вѣтрѣ все это поднималось на воздухъ и носилось облаками по всѣмъ направленіямъ. Съ набережной мостъ представлялъ внушительную и характерную массу, интересный памятникъ старины, который стоило поддерживать. А этого-то именно и не было: мостовая была въ ужасномъ состояніи, плиты въ проходахъ разѣхались, такъ же какъ и огромные камни брусстера. Очевидно, на мостъ махнули рукой. И однимъ изъ первыхъ событій царствованія Александра II было уничтоженіе этого историческаго памятника, основаніе котораго относилось къ XVII вѣку, и замѣна его (въ 1859 г.) шаблоннымъ мостомъ, существующимъ теперь. Русскій человѣкъ покуда еще не привыкъ дорожить родной стариной. Говорили, что ремонтъ стараго моста обошелся бы черезчуръ дорого; однако старая кладка была еще такъ крѣпка, что не бралъ ломъ, и ее пришлось взрывать порохомъ. Разборка стараго моста составила фортуна подрадика Сквицова. Въ его пользу пошелъ весь громадный матеріалъ, изъ котораго имъ и были выстроены тѣ огромные доходные дома, которые образуютъ уголь Моховой и Воздвиженки, противъ манежа, гдѣ теперь помѣщается гостиница „Петергофъ“.

Передъ мостомъ, со стороны Болота, стояла будка, около которой обыкновенно похаживалъ будочникъ. Съ наступленіемъ ночи будочникъ окликалъ прохожихъ словами: „Кто идетъ?“ — На это надо было отвѣтствовать: „обыватель!“ Если отвѣта не давали, блюститель порядка имѣлъ право остановить молчальника и подвергнуть допросу, кто онъ и куда направляетъ путь. Едва ли это право часто осуществлялось, но если и бывали такіе случаи, то кончались они по-милому, по-хорошему: врученіемъ пятиалтынного или двугривеннаго со стороны провинившагося. Въ торжественные дни будочникъ облакался въ парадную форму: кургузый полуфракъ изъ сѣраго солдатскаго сукна и такіе же брюки, надѣвалъ огромный киверъ и бралъ въ руки алебарду.

По ту сторону моста, налѣво надъ самой рѣкой въ грязномъ двухъэтажномъ домѣ помѣщался трактиръ „Волчья долина“, пользовавшійся дурной славой, какъ притонъ всякаго темнаго люда. Говорили, что тамъ происходили и грабежи и убійства, при чемъ трупы выбрасывались прямо подъ мостъ, въ рѣку; поэтому переходъ по Каменному мосту въ темныя ночи для одинокаго путника считался небезопаснымъ.

Тогдашніе сады, извѣстные подъ названіемъ Александровскихъ, были гуще и красивѣе, чѣмъ теперь: ихъ испортила политехническая выставка 1872 года, ради которой было вырублено много старыхъ деревьевъ и кустарниковъ; только часть вырубленного была посажена вновь, и не особенно толково. Такъ, гора второго сада, которая теперь представляетъ изъ себя безотрадную лысину, была прежде обсажена деревьями и составляла славный уютный уголокъ. Тутъ можно было присѣсть, подышать вечернимъ воздухомъ и полюбоваться на перспективу зелени садовъ къ манежу, на Пашковъ домъ, церковь Никола Стрѣлецкаго и отчасти Замоскворѣчье. И содержались сады опрятнѣе; мѣстами были клумбы и куртины съ цвѣтами.

Излюбленнымъ мѣстомъ дѣтскихъ игръ, какъ и теперь, былъ гротъ перваго сада, считая отъ Иверскихъ воротъ. Изрѣдка и мнѣ дозволялось принимать участіе въ игрѣ въ „казаки и разбойники“. Какое наслажденіе было въ обществѣ моихъ сверстниковъ бѣгать и прятаться среди искусственно нагроможденныхъ каменныхъ глыбъ, на полуразрушенной лѣстницѣ подъ сводомъ, по откосамъ горы подъ кремлевскими стѣнами, по кустарникамъ! Съ гиканьемъ наша веселая орда штурмовала этотъ гротъ, одерживала побѣды или несла пораженія подъ командой избранныхъ нами генераловъ. И гдѣ они теперь, случайные товарищи моихъ дѣтскихъ игръ, которыхъ и имена-то мнѣ были неизвѣстны?! Мы сходились и расходились, радуясь, что можно вмѣстѣ поиграть, и — не боялись заразить другъ друга микробами. Надъ гротомъ на площадкѣ стояли скамейки, служившія намъ штабной квартирой: тутъ собирались военные совѣты, вырабатывались планы атаки и защиты. Теперь эти скамейки убраны, какъ убраны онѣ съ другихъ, самыхъ лучшихъ укромныхъ уголковъ, гдѣ москвичу, обреченному судьбою на пребываніе въ городѣ лѣтомъ, представлялась возможность мало-мальски отдохнуть и помечтать въ тиши вечера. Вѣроятно, это сдѣлано въ видахъ общественной морали. Въ отношеніи безопасности положеніе мало измѣнилось: какъ теперь, такъ и прежде проходить одинокому по Александровскому саду въ позднее время не особенно рекомендовалось въ виду возможныхъ неприятныхъ встрѣчъ...

Меня водили и въ нашу лавку, мѣсто дѣятельности моего

отца въ теченіе длиннаго ряда лѣтъ. Она помѣщалась въ большомъ Золотокружевномъ ряду, въ такъ называемомъ Новомъ Гостинномъ дворѣ, сломанномъ въ 1880-хъ годахъ ради постройки нынѣшнихъ Верхнихъ Торговыхъ рядовъ. Лавка была, помнится, большая, сажени четыре въ длину и около трехъ въ глубину. По стѣнамъ кругомъ располагались полки съ товарами, а передъ ними стоялъ длинный прилавокъ; для сидѣнья было нѣсколько стульевъ и креселъ. Какъ всѣ рядскія помѣщенія, лавка не имѣла отопленія, и зимой въ ней сидѣли въ шубахъ.

Раза два на нашихъ прогулкахъ мнѣ пришлось издалека видѣть странную процессію, значеніе которой я понялъ гораздо позже. Съ малаго Каменнаго моста на Полянку тянулась толпа народа, окружавшая телѣгу, на которой стоялъ во весь ростъ привязанный къ столбу человекъ. Около него сверкали штыки солдатъ и билъ барабанъ. Это везли преступника для „торговой“ казни кнутомъ или плетью на Конную площадь. Няня очень не долюбливала эти встрѣчи и сейчасъ же поворачивала со мной въ какой-нибудь переулокъ, подальше отъ этого зрѣлища.

XII.

Гулянья подъ-Новинскимъ и въ Сокольникахъ. — Поѣздки въ Нескучное. — Впечатлѣнія первой загородной поѣздки.

Традиціонныя развлеченія моей матери заключались въ катаньѣ на масляницѣ подъ-Новинскимъ, 1-го мая — въ Сокольникахъ и лѣтомъ раза два-три — въ Нескучное. Она упоминала еще о какомъ-то Жемочкиномъ садѣ, куда они ѣзжали вмѣстѣ съ отцомъ, но этого сада въ это время уже не существовало. Это были все старинныя привычки, заведенныя при отцѣ и державшіеся еще долго послѣ его кончины. Теперь уже лѣтъ тридцать прошло, какъ подъ-Новинскимъ нѣтъ болѣе масляничнаго гулянья. На мѣстѣ длиннаго пустыря, служившаго для выстройки балагановъ, устроенъ бульваръ, а гулянье переведено на Дѣвичье поле, чѣмъ гулянье много выиграло въ просторѣ, но рѣшительно проиграло въ оживленіи. Переводъ этотъ былъ однако необходимъ: скопленіе легкихъ деревянныхъ построекъ на сравнительно тѣсномъ про-

странствѣ представляло большую опасность въ пожарномъ отношеніи для сосѣднихъ домовъ.

Бывало, на масляницѣ подѣ-Новинскимъ валомъ валила толпа. Яблоку негдѣ было упасть. Мѣстами происходила настоящая давка, дававшая хорошую поживу карманникамъ. Въ воздухѣ стонъ стоялъ. Во все горло выкликали свой товаръ разносчики; изъ гула многотысячной толпы безпрестанно выдѣлялись женскій визгъ, крупная брань или нескладныя пѣсни пьяныхъ; десятки хриплыхъ шарманокъ раздирали слухъ. Вертілись карусели, лошадки. Въ балаганахъ разыгрывались пантомимы, показывались феномены въ родѣ великановъ или женщинъ-монстръ, звѣринцы, работали фокусники. На балконы балагановъ выходили смѣшить народъ паяцы, арлекины и коломбины въ легкихъ костюмахъ, мало гармонировавшихъ съ суровой февральской или мартовской погодой. Немало, я думаю, этихъ бѣдныхъ лицедѣевъ унесло въ вѣчность воспаление легкихъ! Стѣной стояла чернь, жадно ожидавшая дарового зрѣлища, но и балаганы были переполнены, благодаря дешевымъ цѣнамъ. Сюжеты спектакля были обыкновенно патріотически-военнаго характера: „битва русскихъ съ кабардинцами“, „взятіе крѣпости Очакова“ и т. п., непременно со сраженіями, пальбой, взрывомъ крѣпости, при чемъ русская сметка, храбрость и благодушіе выставлялись въ самомъ выгодномъ свѣтѣ въ противоположность глупости, трусости и злобѣ враговъ, которые подѣ конецъ обращались въ постыдное бѣгство, либо сдавались на великодушіе побѣдителей. Все представленіе длилось не болѣе получаса; безпрестанно у входа появлялись тѣ же актеры въ костюмахъ, звонили неистово въ колокольчикъ и зазывали публику: „пожалуйте, сейчасъ начинается!“

По лѣвой сторонѣ Новинскаго проѣзда, считая отъ Кудрина, происходило катанье, чрезвычайно популярное въ купеческой средѣ. Это была выставка лучшихъ экипажей, тысячныхъ рысаковъ и богатѣйшей упряжи. Владѣльцы разѣзжали съ разодѣтыми женами и дѣтьми, особенно же взрослыми дочерьми: катанье считалось и выставкой богатыхъ невѣстъ. Поэтому у барьера толпилась въ нѣсколько рядовъ московская молодежь мужского пола: она жадно слѣдила глазами за катающимися, обмѣнивалась съ ними поклонами

и вполголоса критиковала. Случалось, что кольцо экипажей захватывало почти всю Поварскую.

Другое любимое гулянье было 1-го мая въ Сокольникахъ. Считалось необходимымъ и какъ бы неизбѣжнымъ посѣтить его; я, бывало, задолго жду этого дня и молю Бога, чтобы была хорошая погода. А точно говоря, чѣмъ лучше была погода, тѣмъ удовольствіе, доставляемое катаньемъ, должно бы считаться сомнительнѣе. Улицы тогда не поливались. Приходилось переѣзжать чрезъ всю Москву вмѣстѣ съ сотнями другихъ экипажей, среди густыхъ облаковъ пыли, которая пронизывала насквозь платье, застилала глаза и набивалась въ уши и рты, такъ что на зубахъ начинало хрустѣть. Но такова была сила традиціи: нужно было непременно ѣхать именно 1-го мая, а не 2-го и не 3-го, хотя въ любой другой день было бы пріятнѣе подышать чистымъ воздухомъ.

Особенно я любилъ прогулки въ чудное Нескучное, одинъ изъ лучшихъ уголковъ несчастной нашей столицы, совершенно лишенной мало-мальски приличныхъ публичныхъ садовъ. Мать моя называла Нескучное, по старинному, Орловымъ садомъ. Красивое ущелье Нескучнаго казалось мнѣ верхомъ мрачности и суровости и навѣвало на мою дѣтскую душу фантастическія представленія о засадахъ и нападеніяхъ разбойниковъ. Очень интриговали меня заброшенные павильоны и бесѣдки, мосты, переброшенные арками чрезъ овраги. Въ моемъ дѣтскомъ мозгу шевелились вопросы, на которые я не находилъ отвѣта. Зачѣмъ выстроены каменные зданія, похожія на дома, если въ нихъ никто не живетъ, каменные мосты тамъ, гдѣ никто почти не ходитъ? Почему, если они нужны, ихъ не чинятъ, а даютъ превращаться въ развалины? Иногда мать моя привозила съ собою съѣстные припасы, и мы располагались у самоварницы на воздухѣ пить чай и закусывать, что для меня составляло рѣдкое и радостное событіе.

Никогда не забуду первой моей поѣздки съ матерью за городъ въ Волынское, гдѣ нанялъ дачу Иванъ Петровичъ. Въдѣ я, дитя города, впервые увидалъ деревню, поля, лѣса, холмы, всю ширь и просторъ неподкрашенной безыскусственной природы! Особенно меня поразило паркѣ вѣковыхъ липъ. Густая сѣнь зелени высоко надъ головой, длинная перспектива толстыхъ, иногда прихотливо изогнутыхъ де-

ревьевъ, чистый воздухъ, аромать клубники, разводившейся въ самомъ паркѣ,— все это приводило меня въ восхищеніе. Я ходилъ, какъ очарованный, среди сказочнаго царства. Никогда до той поры я не предполагалъ, чтобы природа могла быть столь прекрасной! Съ удивленіемъ смотрѣли на меня мои друзья, Петя и Анюта, которые уже успѣли свыкнуться съ этой обстановкой и не находили въ ней ничего необыкновеннаго. Но судьба готовила мнѣ еще сюрпризъ, какъ будто для того, чтобы достойно увѣнчать впечатлѣнія. День кончился. По дубравѣ пронеслось уже дыханіе вечерняго вѣтерка. Въ сельской церкви звоблаговѣстили ко всенощной. Вдругъ — но никогда мое перо не передастъ всей живости дѣтскихъ ощущеній! — при поворотѣ изъ одной аллеи въ другую снопъ небывало яркаго багрянаго свѣта ударилъ мнѣ въ лицо. Прямо по оси аллеи, низко надъ горизонтомъ, стояло солнце, близкое къ закату, и лучи его пронизывали насквозь эту аллею. Все вокругъ пламенѣло: и густая зелень надъ нашими головами, и стволы деревьевъ, и песокъ дорожки, и одинокая скамья. Это было зрѣлище красоты и величія поразительныхъ. Меня всего охватило торжественное и благоговѣйное чувство. Я остановился, затаивъ дыханіе, упоительно счастливый; слезы готовы были брызнуть изъ глазъ... Къ моему огорченію, мнѣ не дали долго наслаждаться и позвали на дачу. Однако я былъ такъ охваченъ пережитымъ впечатлѣніемъ, что чрезъ нѣсколько времени подъ какимъ-то предлогомъ вырвался съ дачи и побѣжалъ на то же мѣсто, въ надеждѣ вторично пережить то же блаженное чувство. Увы! все было кончено. Слабый розовый свѣтъ еще свѣтилъ гдѣ-то за деревьями, но аллея уже погрузилась въ сѣрые тона сумерекъ. Мнѣ стало невыразимо грустно, и я вернулся, разочарованный. Скоро меня увезли. Мать моя торопилась уѣхать засвѣтло, потому что дорога мимо Дорогомиловскаго кладбища къ ночи считалась небезопасной: тамъ пошаливали.

Никогда я не забылъ этого вечера въ Волинскомъ. Куда меня ни заносила судьба въ трехъ частяхъ свѣта, я никогда не могъ любоваться на горячій лѣтній закатъ безъ того, чтобы у меня въ душѣ не шевельнулось воспоминаніе о первомъ сильномъ впечатлѣніи моего далекаго дѣтства, — впечатлѣніи, которому никогда въ жизни болѣе не повториться.

XIII.

Отъѣздъ на Нижегородскую ярмарку. — Визитъ татаръ. — Паисій Ивановичъ Цѣлованьевъ.

Важнымъ событіемъ въ году было отправленіе братьевъ на ярмарку. Тогда владимірское шоссе только-что было проложено, а о желѣзной дорогѣ не было еще и помину. Разговоры о путешествіи начинались задолго до дня отъѣзда: выспрашивали у знакомыхъ, кто ѣдетъ, не будутъ ли попутчики, обсуждали, что съ собою брать. Толки объ этомъ шли непрерывно за чаемъ, обѣдомъ и ужиномъ.

„Какъ бы не забыть захватить одѣяла!“ говоритъ Иванъ Петровичъ. „Въ прошломъ году не догадались положить, а они были очень нужны.“

Семень наказываетъ, чтобы была непременно „конторская“ игра.

„Ежели ключница не положитъ, такъ вѣдь дорогой ни за какія деньги не достанешь. А что-нибудь въ постные дни надо ѣсть“.

Наконецъ, настаетъ и день отъѣзда. Къ крыльцу поданъ тарантасъ, запряженный четверкой лошадей. Весело позвякиваютъ бубенчики. По парадной лѣстницѣ съ озабоченными лицами снуютъ взадъ и впередъ приказчики и прислуга; съ верхнихъ ступеней раздаются послѣднія приказанія.

„Ты смотри-же, Сорочинскій!“

— Слушаю-съ.

„Да чтобы непременно!“

— Уже не извольте беспокоиться.

Наконецъ все готово. Безчисленные чемоданы, ящики, баулы, мѣшки, мѣшечки, поставцы и корзинки снесены внизъ и благополучно исчезли въ нѣдрахъ тарантаса. Зовутъ въ залу. Тутъ собирается весь домъ: отъѣзжающіе, чады и домочадцы. „Присядемъ!“ говоритъ моя мать. Всѣ садятся и замолкаютъ. Кто-то глубоко вздохнулъ. Вдругъ всѣ сразу стремительно встаютъ и начинаютъ креститься на иконы. Это продолжается минуты двѣ. Затѣмъ начинается прощаніе. Отъѣзжающіе цѣлуются по три раза, сперва съ моей матерью, потомъ съ другими членами семьи, наконецъ со старшими приказчиками. Иванъ, цѣлуя меня, говоритъ:

„Я тебѣ, Никола, большой волчокъ въ гостинецъ привезу“. Семенъ ничего не общаетъ: онъ слишкомъ „строгъ“ для такихъ мелочей. Я и не волнуюсь корыстью, ибо знаю по опыту, что, каковъ бы ни былъ подарокъ, онъ будетъ общій.

Большой гурьбой всѣ мы спускаемся по лѣстницѣ на крыльцо. Небо безоблачное, стоитъ томительный зной.

„Жалко васъ“, говоритъ маменька путешественникамъ, „очень пыльно будетъ вамъ ѣхать“.

— Богъ милостивъ, маменька, отзывается Иванъ. Фартуками закроемся.

И вотъ мы передъ тарантасомъ, — чудовищемъ напоминающимъ Ноевъ ковчегъ. Теперь развѣ въ музеѣ увидишь такую машину! Это длинный-длинный крытый рыдванъ, внутри весь обтянутый зеленой кожей. Онъ такъ длиненъ, что въ немъ можно свободно лежать, вытянувшись во весь ростъ, но зато сидѣть нельзя иначе, какъ по-турецки, поджавши подъ себя ноги, такъ какъ внутренніе тюфаки сдѣланы всѣ подъ одинъ уровень. Подъ ними-то и скрываются пустоты, поглотившія безконечный багажъ.

Братья съ усиліемъ залѣзаютъ въ тарантасъ и, усѣвшись, снявши картузы, начинаютъ креститься и кланяться въ послѣдній разъ. Мать моя крестить ихъ по воздуху. „Трогай!“ Ямщикъ тряхнулъ вожжами, бубенцы оживленно зазвенѣли, и, громяхая и покачиваясь, тяжелый рыдванъ приходитъ въ движеніе. Вотъ онъ медленно выѣхалъ за ворота и повернулъ направо, чтобъ пробираться по Замоскворѣчью къ Краснохолмскому мосту и Рогожской заставѣ. Провожатые высыпали гурьбою на улицу и слѣдятъ глазами, покуда онъ не скроется за угломъ Полянского рынка. Слышится чье-то послѣднее пожеланіе: „Дай Богъ, авось въ добрый часъ доѣдутъ благополучно“. А на небѣ ярко играетъ іюльское солнце...

Разъ въ году, зимой, у насъ происходило особое торжество: пріемъ казанскихъ татаръ, нашихъ крупныхъ покупателей.

Въ опредѣленный день они пріѣзжали всѣ вмѣстѣ, часовъ около 6 вечера. Ихъ было человекъ десять, всѣ большей частью пожилые и полные, съ темными лицами, косыми черными глазами и бритыми затылками. Они были въ яркихъ

шелковыхъ халатахъ, подпоясанныхъ золотыми поясами, въ ермолкахъ, осыпанныхъ жемчугомъ и драгоценными камнями, въ брилліантовыхъ перстняхъ. При нихъ состоялъ переводчикъ. Старшіе братья встрѣчали ихъ съ почетомъ и разсаживали въ угловой гостиной. Начиналось угощеніе чаемъ, вареньемъ и пастилой. При помощи переводчика, а иногда и прямо, велся степенный разговоръ. Они были очень ласковы со мной, гладили по головѣ и говорили мнѣ что-то на своемъ языкѣ, чего я, конечно, не понималъ. Визитъ продолжался часа полтора, послѣ чего татары всѣ вмѣстѣ же уѣзжали.

Отъ времени до времени къ намъ наѣзжалъ изъ Нижняго-Новгорода оригинальный гость. Звали его Паисіемъ Ивановичемъ Цѣлованьевымъ. Онъ происходилъ изъ мелкихъ купцовъ, когда-то чѣмъ-то торговалъ, но давно прогорѣлъ до тла, чему нельзя было и удивляться, узнавши его покороче. Убѣжденіе, что онъ родился „піитой и патриотомъ“, побуждало его всегда витать въ какой-то атмосферѣ восторга, высоко надъ презрѣнной дѣйствительностью, но къ несомнѣнному ущербу его матеріальныхъ дѣлъ. Съ одной стороны, его прельщали лавры Ломоносова и Сумарокова, съ другой — слава Кулибина, русскаго механика-самоучки, изобрѣвшаго паровой двигатель. Поэтому онъ сочинялъ оды и героическія поэмы и тратилъ послѣдніе гроши на изобрѣтеніе вѣчнаго двигателя.

Я его помню очень хорошо. Это былъ старикъ лѣтъ 65, съ узкимъ, загорѣлымъ, строгимъ лицомъ подвижника и аскета, всегда серьезный и полный своеобразнаго достоинства. У него былъ орлиный носъ, горящіе каріе глаза съ рѣзкой вертикальной морщиной между бровями и сѣдые еще очень хорошо сохранившіеся кудри. Онъ ходилъ въ высокихъ сапогахъ и длинномъ ниже колѣнъ двубортномъ сюртукѣ, когда-то синемъ, но сильно прозеленѣвшемъ отъ времени, и говаривалъ, указывая на него:

„Вотъ это — сукно, сударь! Сорокъ лѣтъ ношу. Извольте-ка сравнить съ нынѣшнимъ товаромъ“.

Онъ кормился около купечества, считаясь чѣмъ-то въ родѣ шута. Этимъ объяснялись и его наѣзды на Москву. Его заставляли декламировать оды собственнаго сочиненія, преи-

мужественно же патриотическую поэму „Козьма Мининъ“, и въ насмѣшку звали „вторымъ Мининомъ, первымъ Нижегородскимъ гражданиномъ“. Нѣсколько разъ слышалъ я эту поэму и въ болѣе поздніе годы. Она была написана шестистопными ямбами, изобиловала „сими“, „оними“ и другими шероховатостями языка и напоминала слогъ старинныхъ трагедій. При декламации ея авторъ становился въ торжественную позу, принималъ вдохновенный видъ и выразительно жестикулировалъ. Отчеканивая рѣзмы, онъ словно топоромъ рубилъ стихи, напоминавшіе Озеровскаго „Дмитрія Донскаго“:

Но первый долгъ къ тебѣ, Царю Царей!
 Всѣ царства держатся десницею Твоей.
 Прославь и возвеличь и вознеси Россію!
 Сотри ея враговъ коварну, горду выю;
 Чтобъ съ трепетомъ сказать иноплеменикъ могъ:
 Языки, вѣдайте — великъ Россійскій Богъ!

Конечно, я тогда не могъ судить, были ли какія достоинства въ произведеніи музы Паисія Ивановича, но оно казалось мнѣ длиннымъ и скучнымъ, и я бывалъ радъ, когда онъ полагалъ конецъ своимъ пѣтическимъ изліяніямъ. Только мнѣ думается, что старый энтузіастъ былъ по-своему счастливъ и, при всей своей бѣдности, куда счастливѣе многихъ богачей, которые издѣвались надъ его наивною, но несомнѣнно искренней восторженностью.

XIV.

Женитьба брата Семена. — Женитьба брата Сергѣя. — Семья Борисовыхъ.

Черезъ два года по кончинѣ отца, братъ Семенъ женился на Ольгѣ Семеновнѣ Грачевой, старшей дочери купца С. Дм. Грачева, съ семействомъ котораго у насъ давно существовали дѣловыя связи ¹⁾. Свадьба происходила 6 ноября 1849 года. Мнѣ было тогда пять лѣтъ. У насъ былъ балъ, о которомъ у меня осталось воспоминаніе. Впервые въ жизни я увидѣлъ разряженныхъ женщинъ, въ пышныхъ платьяхъ,

¹⁾ Дѣдъ его, Петръ Ивановъ, дворовый человѣкъ ассессора Непейна, былъ „отпущенъ на волю вѣчно“ въ 1751 г. и принисанъ въ Московское купечество въ слѣдующемъ году. — Грачевы жили въ собственномъ домѣ съ большимъ садомъ въ переулкѣ около церкви Черниговскихъ чудотворцевъ.

съ шумящими юбками, въ жемчугахъ и брилліантахъ, въ раздражающей атмосферѣ духовъ, яркаго освѣщенія, музыки и толпы гостей. Особенно я былъ пораженъ красотой и изяществомъ невесты и ея двухъ сестеръ. Мнѣ казалось, что я вижу представительницъ какого-то неземнаго міра... Если бы кто-нибудь мнѣ тогда сказалъ, что эти прелестныя существа питаются однѣми конфетами и пьютъ одну розовую воду, я бы не нашелъ въ этомъ ничего удивительнаго...

Когда первое восхищеніе передъ молодой супругой Семена Петровича у меня прошло, мѣсто его заняло спокойное равнодушіе. Молодая женщина съ самаго начала стала въ очень опредѣленное сдержанное положеніе, которое исключало возможность интимности: съ моею матерью была вѣжлива и почтительна, вовсе однако не стараясь съ ней сблизиться; не вмѣшивалась рѣшительно въ хозяйство и сходилась со всѣмъ семействомъ только за обѣдомъ и ужиномъ. Четыре года прожили мы съ ней подъ одной кровлей, но у меня никакого живого воспоминанія за это время объ ней не сохранилось.

Черезъ два года послѣ свадьбы Семена Петровича женился мой родной братъ Сергѣй при нѣсколько романтической обстановкѣ.

Одна изъ дочерей Семена Алексѣевича Алексѣева, т. е. родная племянница моего отца, Елизавета Семеновна, была замужемъ за Андреемъ Семеновичемъ Быковскимъ и имѣла многочисленное потомство. Дочь ея Капитолина Андреевна выдана была за мелкаго чиновника Ивана Степановича Борисова. У Борисовыхъ было двое дѣтей: сынъ Николай и дочь Елизавета. Послѣдней только что исполнилось 16 лѣтъ. Это была „миленькая“ барышня, свѣженькая и румяная, какъ китайское яблочко, съ пухлыми губками и сѣрыми выпуклыми глазами, наивная и недалекая. Все ея образованіе заключалось въ томъ, что она пробыла нѣсколько мѣсяцевъ въ модномъ пансіонѣ мадамъ Кноль и въ теченіе этого времени, по собственному признанію, училась плохо, съ грѣхомъ пополамъ усвоила себѣ нѣсколько французскихъ фразъ и совсѣмъ не усвоила русской грамоты. Писала она съ ужасающими ошибками, не говоря уже о слогѣ. Въ нее-то влюбился со всѣмъ пыломъ двадцатилѣтняго парня, здороваго и чистаго душой и тѣломъ, мой братъ

Сергѣй. Для него это была безусловно во всѣхъ отношеніяхъ первая любовь. Этимъ онъ отличался отъ Семена, который собрался жениться, уже будучи 28 лѣтъ отъ роду и успѣвши пожить втихомолку: мнѣ извѣстно изъ разныхъ источниковъ, что Семень до женитбы не отказывалъ себѣ въ развлеченіяхъ на сторонѣ. То обстоятельство, что Елизавета Ивановна доводилась брату Сергѣю двоюродной племянницей, не могло служить существеннымъ препятствіемъ къ ихъ браку. Родство все-таки было не близкое, и даже при тогдашнихъ строгихъ взглядахъ митрополита Филарета можно было рассчитывать на разрѣшеніе. Но любовь брата Сергѣя натолкнулась на препятствіе другого рода.

Иванъ Степановичъ Борисовъ принадлежалъ къ породѣ старыхъ подъячихъ, увѣковѣченныхъ Островскимъ. (Кстати сказать, онъ комедій Островскаго терпѣть не могъ: это я отъ него самого слыхалъ неразъ вполнѣдствіи). Служа приставомъ при Коммерческомъ Судѣ, онъ по цѣлымъ днямъ разъѣзжалъ на бѣговыхъ дрожкахъ, развозя повѣстки. Человѣкъ онъ былъ себѣ на умѣ, неглупый, но ни воспитаніемъ, ни образованіемъ похвастаться не могъ. Кромѣ своихъ служебныхъ обязанностей, онъ бралъ на себя всякія ходатайства по дѣламъ — за приличную мзду, конечно, и при этомъ охотно хвастался своей честностью. Онъ очень любилъ охоту и рыбную ловлю и изъ своей охотничьей практики сообщалъ множество невѣроятныхъ приключеній; вообще любилъ рассказывать всякіе поразительные и юмористическіе анекдоты и бывалъ очень доволенъ, когда находилъ себѣ терпѣливую и снисходительную аудиторію. Прикидываясь добрячкомъ, въ душѣ это былъ кулакъ и человѣкъ жесткій, особенно по отношенію къ женѣ, съ которой обращался презрительно грубо. Несмотря на то, Капитолина Андреевна, маленькая, сухопарая, крайне некрасивая, обоготворяла мужа. Что „Ванечка“ сказалъ, то было для нея свято. У нея была одна специфическая черта: она отличалась какой-то непостижимой наклонностью къ бродяжничеству. Застать ее дома было почти невозможно, ибо она постоянно пребывала у кого-нибудь въ гостяхъ. Природная любознательность давала ей при этомъ возможность пріобрѣтать весьма обширныя свѣдѣнія. Про купеческую Москву она знала всю подноготную, и былъ, и небылицу, и охотно дѣлилась своими познаніями.

принимая при этомъ таинственный видъ, не договаривая словъ, подмигивая и лукаво улыбаясь. Выраженія ея носили часто характеръ метафорическій и неопредѣленный, напоминая изреченія древнихъ оракуловъ. Если ее спросить:

„Капитолина Андреевна, правда ли будто Любенка Носова хорошую партію дѣлаетъ?“

— Ахъ, батюшка, отвѣчаетъ она, орелъ-то высоко летаетъ и все смотритъ, а кто можетъ сказать какую овечку выберетъ?!... Такъ-то и тутъ. Хотѣлось бы мнѣ перейти на ту сторону улицы, да дождикъ идетъ, ноги промочишь.

Сынъ Борисовыхъ, Николай Ивановичъ, учившійся въ гимназіи, но курса не кончившій, служилъ въ Мануфактурномъ Совѣтѣ. Это былъ человѣкъ не особенно далекій, вялый, но съ недурными задатками, чужалъ правду, скучалъ банальностью своего существованія и отъ глубины души презиралъ чиновничество, къ которому самъ принадлежалъ. Хотя онъ былъ старше меня лѣтъ на двѣнадцать, но вполнѣдствіи мы съ нимъ сдружились: онъ охотно ставилъ себя въ положеніе моего ментора по части житейской практики и однажды подарилъ меня слѣдующимъ афоризмомъ:

„Помни мой завѣтъ и знай, что русскій чиновникъ — подлецъ“.

— Какъ же ты можешь такъ говорить, когда ты самъ русскій чиновникъ? воскликнулъ я. Значитъ, и себя ты за подлеца считаешь?...

„Покаместъ мы съ тобой бесѣдуемъ о постороннихъ вещахъ“, сказалъ онъ, „пьемъ, ѣдимъ и гуляемъ вмѣстѣ — я тебѣ другъ. Но попробуй затѣять со мной какое-нибудь общее дѣло: непременно я тебя обдую, несмотря ни на какую дружбу. Это у чиновниковъ ужъ въ крови“.

И именно такое же воззрѣніе на чиновничество проникло всю нашу семью. Когда стало извѣстнымъ намѣреніе Сергѣя сдѣлать предложеніе Борисовой барышнѣ, всѣ руководящіе элементы въ домѣ всполошились. Семень Петровичъ ѣдко иронизировалъ надъ „чернильной“ семьей. Больше всѣхъ была огорчена моя мать, которая объявила, что согласія на бракъ ни за что не дастъ. Конечно, всѣ подробности этихъ перипетій я узналъ гораздо позже. Какъ почти всегда случается, препятствія только подлили масла въ огонь. Сергѣй ходилъ какъ въ воду опущенный, тосковалъ и

плакалъ. Въ его натурѣ была одна основная черта: всякое чувство, подъ вліяніе котораго онъ попадалъ, захватывало его всегда цѣликомъ, безраздѣльно, не давая мѣста никакимъ другимъ соображеніямъ. Такъ продолжалось, пока на смѣну не приходило другое чувство, болѣе сильное. Но тогда первое чувство не только отметалось имъ въ сторону, но нерѣдко поносилось и попиралось ногами. Это часто встрѣчается у мало уравновѣшенныхъ людей.

Не знаю, сколько времени тянулась эта исторія, но однажды Сергій вручилъ матери длинную промеморію на четырехъ большихъ страницахъ. Не выходя изъ роли покорнаго сына, безропотно покоряющагося волѣ дражайшей родительницы, онъ излагалъ подробно свои чувства къ избранницѣ сердца, свои страданія по поводу разлуки и невозможности соединиться съ нею узамъ законнаго брака и почтительнѣйше ходатайствовалъ о дозволеніи — поступить въ монастырь, дабы посвятить остальную часть своей жизни служенію Богу, молитвѣ и забвенію о несбывшихся счастья мечтахъ. Витіеватый слогъ писанія мало соотвѣтствовалъ литературной подготовкѣ брата Сергѣя, и поэтому въ редакціи этого документа слѣдуетъ допустить значительное участіе постороннихъ лицъ.

Такого маневра мать моя не ожидала. При всемъ своемъ умѣ она всегда имѣла большую слабость къ своему первенцу. Неужели онъ долженъ сдѣлаться несчастнымъ чрезъ нее, которая его такъ любитъ? Она повѣрила, и — уступила.

По приведеннымъ выше мотивамъ родства, нельзя было вѣнчаться, не испросивъ разрѣшенія у митрополита. Борисовы ѣздили къ нему съ дочерью и моимъ братомъ. Говорятъ, Филаретъ не сразу далъ разрѣшеніе, вначалѣ уговаривалъ не нарушать строгости церковныхъ правилъ, но въ виду настойчивыхъ просьбъ, сопровождаемыхъ слезами, уступилъ и даже благословилъ иконой.

Свадьба брата Сергѣя и Елизаветы Ивановны состоялась 18 апрѣля 1851 года. Меня возили къ Борисовымъ на „сговоръ“ въ ихъ квартиру, находившуюся въ началѣ Никитскаго бульвара, въ нижнемъ этажѣ¹⁾. Новобрачные поселились на Якиманкѣ же, въ домѣ моей матери, рядомъ съ нами.

¹⁾ Этотъ домъ въ настоящее время состоитъ во владѣніи моего племянника Валентина Семеновича Вишнякова.

XV.

Родственные отношенія: Протопоповы, Пашенковы-Тряпкины, Алексѣевы, Зѣвакины, Хлѣбниковы, Коншины, Кобелевы, Болдыревы.

По традиціи ли, или по причинѣ глухоты моей матери, исключавшей возможность пріемовъ, мы жили очень замкнуто, и насъ посѣщали почти только одни родные. Изрѣдка составлялись карточные вечера. Во второй гостиной раскрывали одинъ или два ломберныхъ стола, за которые и усаживались гости, все мужчины, вмѣстѣ съ моими старшими братьями для игры въ „бостонъ“ или въ „ламушъ“. Для расчетовъ употреблялись разноцвѣтные костяныя „фишки“, которыя мнѣ очень нравились. Помнится, около этого времени, стала входить въ моду и новая игра „преферансъ“. Меня рано уводили спать, и мнѣ осталось неизвѣстнымъ, долго ли засиживались гости, и когда имъ подавался ужинъ.

Но и съ родными наши отношенія ограничивались почти одними визитами, за исключеніемъ семейства моей сестры Надежды Петровны. Мать моя вообще никуда одна не ѣзжала. Для необходимаго визита она выбирала обыкновенно праздничный день и вмѣстѣ со мной и няней отправлялась сперва въ какой-нибудь монастырь къ обѣднѣ, а оттуда мы вмѣстѣ же заѣзжали къ тѣмъ или другимъ родственникамъ на *перепутки* чай пить; рѣже мы ѣздили просто кататься и навѣстить кого-нибудь. Число посѣщаемыхъ нами было очень невелико: мои сестры Протопопова и Пашенкова, тетки Зѣвакина и Хлѣбникова, двоюродныя сестры Анна Александровна Савельева, Екатерина Александровна Костромина и Марія Александровна Каретникова.

Отношенія наши съ Протопоповыми оставались такими же, какъ были при отцѣ, — дружественными и довольно интимными. Мы бывали у нихъ чаще всего, можетъ-быть, по причинѣ близкаго сосѣдства, а главное — вслѣдствіе давно установившейся симпатіи между моей матерью и Надеждой Петровной, женщиной доброй и простой. Ни съ кѣмъ мать моя не чувствовала себя такъ непринужденно, какъ съ нею. При помощи мимики и аспидной доски Надежда Петровна умѣла вести съ моею матерью пространные и оживленные разговоры, такъ что со стороны могло казаться, что обѣ онѣ

обладают одинаково хорошим слухом. Мужъ ея Василій Харлампіевичъ держалъ себя съ важностью, читалъ газеты и очень любилъ развивать въ подходящей компаніи свои взгляды на политику.

У Протопоповыхъ была большая терраса изъ разноцвѣтныхъ стеколъ, выходившая въ ихъ густой прекрасный садъ. Тутъ обыкновенно подавался лѣтомъ вечерній чай. Находясь во второмъ этажѣ, терраса господствовала надъ садомъ, однако сосѣднія деревья такъ разрослись, что закрывали ее своими вѣтками почти совсѣмъ съ одной стороны; зато съ другой передъ глазами разстилалось цѣлое море зелени. Слабо доносился съ улицы стукъ экипажей. Пахло свѣжей растительностью, какъ на дачѣ. Вотъ тутъ-то и сидитъ, бывало, Василій Харлампіевичъ со старшими гостями и ведетъ свой любимый разговоръ, къ которому я прислушивался съ благоговѣніемъ. Отъ него впервые я услышалъ слова: дипломатія, нота, конгрессъ, нейтралитетъ, европейское равновѣсіе и т. п. Заложивъ палецъ за пуговицу сюртука, Василій Харлампіевичъ разглагольствовалъ такъ передъ Крымской войной:

„Англичанинъ-съ? Онъ всегда коварный-съ, никакихъ чужихъ правъ не признаетъ-съ, а намъ завидуетъ и, ежели можно, всегда нагадитъ-съ. А Наполеону-съ, конечно, лестно намъ отомстить за дядюшку, за 1812-й годъ. На кого намъ надѣяться-съ? Ежели, на примѣръ, взять Австрію-съ, которую мы спасли въ 49-мъ году, то она никакъ не можетъ-съ, потому силы нѣтъ, тѣ же венгерцы не позволяютъ, скажутъ: что вы затѣваете? Положимъ-съ, прусскій король — шурина нашему Государю Императору, однакоже какую помощь можетъ онъ оказать? Скажетъ ему Пальмерстонъ: соблюдай нейтралитетъ, онъ и долженъ соблюдать, потому боится англискаго флота“.

Меня больше всего привлекало, конечно, общество трехъ барышень, моихъ племянницъ, изъ которыхъ младшая была мнѣ ровесницей; двѣ старшія смотрѣли на меня свысока, какъ подобаетъ взрослымъ дѣвицамъ, но это не мѣшало имъ играть со мной въ прятки и бѣгать до упаду по чуднымъ аллеямъ, покуда мать моя не пришлетъ за мной, приказавъ сказать, что стало сыро, пора идти домой. Мать моя вообще Протопоповскаго сада не долубливали, находя его и сырмъ и глухимъ.

Не таковы были отношенія съ Пашенковыми. Сестра моя Людмила Петровна очень рано стала держаться особнякомъ, ѣздила къ намъ только съ рѣдкими визитами, а у себя принимала еще рѣже. Когда-то одинъ разъ въ году, въ именины Василя Ивановича, насъ всѣхъ приглашали на обѣдъ, потомъ стали приглашать на ужинъ, а наконецъ, и это было отмѣнено. Правду сказать, общество Людмилы Петровны заключало въ себѣ мало привлекательнаго. Кромѣ чрезмѣрнаго скопидомства, она отличалась вообще тяжелымъ характеромъ. О чемъ бы ни заходила рѣчь, она выражалась рѣзкими, безапелляціонными афоризмами, сводившимися къ философіи ежевыхъ рукавицъ. Послушать ее, такъ все на свѣтѣ шло вверхъ дномъ: въ церковь мало ходятъ, плохо молятся, старшихъ не слушаютъ; чтобъ достигнуть общаго благополучія, надо заставлять, принуждать, требовать, наказывать. Печально было то, что свои взгляды она неуклонно проводила въ жизнь, муштруя своего единственнаго и страстно любимаго сына. Всю жизнь она не давала ему сдѣлать ни шагу безъ контроля. Когда они вдвоемъ прѣзжали къ намъ, Никола, будучи уже взрослымъ юношей, не смѣлъ спросить даже лишней чашки чаю. Не стѣсняясь ничѣмъ присутствіемъ, она кричала на него:

„Что это ты? Третью чашку чаю вздумалъ пить? Вотъ еще! Не давайте ему! Что это, эдакій мальчишка, и три чашки днемъ пьетъ“.

Стоило Николѣ встать съ кресла, желая промять ноги или посмотреть альбомъ, какъ раздавался окликъ:

„Куда это ты? Что это ты въ родѣ маятника болтаешься?! Сиди!“

Но могло быть и противоположное:

„Что это ты все сидишь, словно тебя къ креслу приклеили? Поди, промни себѣ ноги, дуракъ!“

Такое обращеніе въ теченіе длиннаго ряда лѣтъ не могло не отразиться пагубно на умственныхъ способностяхъ Николая Васильевича. Отвыкну совершенно имѣть свою волю и распоряжаться своими поступками, онъ постепенно превратился въ существо умственно недоразвитое, въ дурачка. Система Людмилы Петровны оказалась трагически еще разъ осужденной. А между тѣмъ во внѣшнемъ видѣ Николай Васильевича не только не было ничего ненормальнаго, но

даже онъ могъ назваться красивымъ. Трудно понять, почему Василій Ивановичъ, человекъ, несомнѣнно, большого практическаго ума, совсѣмъ устранилъ себя отъ всякаго вліянія на воспитаніе сына. Единственно возможное объясненіе надо искать въ его обширныхъ и разнообразныхъ торговыхъ дѣлахъ, которыя поглощали все его время и требовали продолжительныхъ отлучекъ въ Харьковъ, Ромны, Полтаву и другіе города. Умирая, онъ оставилъ сыну хорошую пожизненную ренту, а все остальное состояніе завѣщалъ городу Харькову. Людмила Петровна скончалась гораздо раньше. Въ оправданіе ея слѣдуетъ сказать, что она всю жизнь хворала и постоянно лѣчилась, что должно было вліять на ея характеръ.

Несмотря на то, что Владиміръ Семеновичъ Алексѣевъ былъ другомъ отца, его душеприказчикомъ, моимъ крестнымъ отцомъ и опекуномъ, никогда мать моя не ѣздила ни къ кому изъ Алексѣевыхъ. Объясняется это тѣмъ, что со старшей линіей Алексѣевского дома, Петромъ Семеновичемъ и его потомствомъ, еще раньше при жизни отца отношенія были довольно далеки, а Владиміръ Семеновичъ вскорѣ овдовѣлъ, и ѣхать къ нему съ визитомъ моей матери было уже неудобно. Позже, благодаря женитьбѣ брата Сергѣя на двоюродной внучкѣ Петра Семеновича, мы снова сблизились со вдовой послѣдняго, Анной Герасимовной, рожденной Четвериковой, и ея сыновьями, а потому я скажу нѣсколько словъ объ этой особѣ, хотя это воспоминаніе и относится къ болѣе позднему времени.

Анна Герасимовна не часто дарила насъ своими посѣщеніями; въ виду ея значенія въ Алексѣевской роднѣ ее ожидали всегда съ нѣкоторымъ напряженіемъ, безпокойствомъ, почти благоговѣніемъ. Это была старушка средняго роста, довольно полная, разодѣтая въ шелкъ и бархатъ и всегда сопровождаемая въ качествѣ адъютанта бѣдной родственницей-барышней. Должно-быть, Анна Герасимовна болѣла ногами, потому что ее вводили подъ руки, какъ архіерея, съ одной стороны эта родственница, съ другой — хозяйнѣ дома. При появленіи ея всѣ гости вставали и кланялись; лично знакомые ей мужчины подходили къ ручкѣ. Она держала себя очень важной барыней. Ее усаживали на диванъ

въ гостинной, при чемъ хозяйка дома должна была находиться при ней неотлучно, чтобы занимать ее. Въ рукѣ, облеченной въ митеневую перчатку, Анна Герасимовна держала лорнетъ, озирала со своего мѣста всѣхъ входящихъ и спрашивала громко: „А это кто такое?“ И если не поняла отвѣта, который естественно стѣснялись давать ей иначе какъ вполголоса, то переспрашивала на всю гостинную: „А? Кто? Не разслыхала“.

Изъ сыновей Анны Герасимовны у насъ тогда бывали Дмитрій и Алексѣй Петровичи со своими женами, но я не сохранилъ объ нихъ никакого воспоминанія.

Хорошо я помню только Владиміра Семеновича, моего крестнаго отца, хотя также изъ болѣе поздняго времени. Онъ былъ моимъ опекуномъ, и въ качествѣ такового — мнѣ пріятно это засвидѣтельствовать — заслужилъ несомнѣнное право на мою благодарность. Въ 1860-хъ годахъ я всегда ѣздилъ къ нему на Рогожскую съ визитами въ высокосторжественные дни. Это былъ грузный старикъ средняго роста, съ большой сѣдой головой, выстриженной подъ гребенку, крупными чертами гладко выбритаго лица и выдающейся толстой нижней губой. Живо сохранилась у меня въ памяти его сутуловатая фигура, облеченная въ длинный черный сюртукъ, его ласково равнодушныя манеры важнаго барина, тихая, вѣжливая рѣчь и ароматный запахъ гаванской сигары, которую онъ не выпускалъ изъ рта.

Во время одного изъ такихъ посѣщеній — я былъ тогда, должно-быть, студентомъ 1-го курса — при мнѣ изъ сосѣдней комнаты вышелъ къ Владиміру Семеновичу поздороваться мальчикъ лѣтъ 13—14 съ женственно-нѣжнымъ лицомъ, тонкій, высокій и стройный, одѣтый въ черную курточку.

„Вы не знакомы?“ спросилъ меня мой крестный отецъ. „Это мой внукъ Николай“.

Таково было мое первое знакомство съ Николаемъ Александровичемъ Алексѣевымъ, моимъ троюроднымъ внукомъ, будущимъ Московскимъ городскимъ головой. Послѣ этого намъ пришлось встрѣтиться только много-много лѣтъ спустя, когда онъ былъ въ апогеѣ своей многошумной и такъ неожиданно прерванной карьеры. Узнать его было невозможно: нѣжный стройный мальчикъ превратился въ рослаго дороднаго мужчину съ авторитетными и властными манерами...

Владимір Семеновичъ сохранилъ до конца своей жизни хорошія отношенія съ нами. Посѣщеніе его было пріятнымъ событіемъ. Подъ старость онъ сдѣлался мнительнымъ и очень боялся смерти. Какъ примѣръ того, какъ трудно бываетъ угодить людямъ, приведу слѣдующій случай. Во время одного изъ посѣщеній Владимира Семеновича мать моя, желая выказать мои таланты, приказала мнѣ сыграть что-нибудь на фортепіано. Я сѣлъ и сталъ играть отрывки изъ „Аскольдовой могилы“. Пѣсня Торопки: „Близко города Славянска“ заслужила одобреніе моего опекуна: онъ слушалъ внимательно, нагнувъ слегка голову на бокъ и покачивая ею въ тактъ. Но когда я перешелъ къ хору: „Ахъ, подруженьки, какъ грустно“, онъ сталъ проявлять признаки явнаго безпокойства и, измѣнившись въ лицѣ, спросилъ:

„Это что-то похоронное?!“

Я поспѣшилъ разъяснить, что это — пѣсня дѣвушекъ села Предиславина, томящихся въ теремномъ заключеніи, и тѣмъ успокоилъ его. Сыгранный затѣмъ вальсъ изгладилъ вполнѣ дурное впечатлѣніе. Старикъ развеселился и сталъ опять покачивать головой въ тактъ.

Сношенія наши съ сыновьями Владимира Семеновича никогда не были близкими. О посѣщеніяхъ „Сашеньки Владиміровича“ только изрѣдка упоминается въ письмахъ матери къ отцу. Когда я съ нимъ встрѣчался позже, Александръ Владиміровичъ производилъ впечатлѣніе человека благовоспитаннаго и симпатичнаго, хотя очень сдержаннаго, молчаливаго, какъ-будто съ головой ушедшаго въ дѣла. Супруга его Елизавета Михайловна, рожденная Бостанжогло, была горда, не обращала на насъ никакого вниманія и не могла способствовать сближенію. Сергѣй Владиміровичъ, младшій братъ, не игралъ самостоятельной роли; зато средній — Семень, умершій холостымъ, воплощалъ въ себѣ всю Алексѣевскую спѣсь. Однажды мои старшіе братья отправились на какой-то званый вечеръ къ Алексѣевымъ. Въ то время, когда они стояли неподалеку отъ Семена Владиміровича, кто-то изъ гостей обратился къ нему съ вопросомъ, кто они. „Это — сыновья нашего бывшего приказчика“, громко отвѣчалъ Семень Владиміровичъ. Братья мои были очень оскорблены этой глупой выходкой своего двоюроднаго племянника, и немедленно уѣхали. Такимъ образомъ, понемногу, потом-

ство Владимира Семеновича отдалялось отъ насъ, забывая родственныя связи. Со временемъ прекратились и взаимныя праздничныя визиты. Когда мнѣ понадобилось чрезъ цѣлый рядъ лѣтъ переговорить по какому-то дѣлу съ городскимъ головою Н. А. Алексѣевымъ, мы встрѣтились съ нимъ какъ совсѣмъ чужіе люди... Но судьбѣ, видно, было неужодно, чтобы наши роды совсѣмъ разошлись. Много лѣтъ спустя наше фабричное дѣло слилось съ Алексѣевскимъ въ одинъ торговый домъ подъ фирмою: „Алексѣевъ, Вишняковъ и Шамшинъ“. Съ нашей стороны состоитъ директоромъ мой племянникъ Петръ Ивановичъ, сынъ брата Ивана, со стороны Алексѣевыхъ — Константинъ Сергѣевичъ, сынъ Сергѣя Владиміровича, инициаторъ „Художественнаго театра“, извѣстный по сценѣ подъ именемъ Станиславскаго.

Изъ Алексѣевской родни нашей я упомяну еще только объ одной любопытной дамѣ. У Александры Семеновны Алексѣевой отъ перваго брака съ Шелапутинымъ была дочь Ольга Петровна, выданная за Михаила Николаевича Егорова. Мужъ — добродушный и молчаливый толстякъ — находился въ безпрекословномъ подчиненіи у взбалмошной и очень ограниченной бабы. Даже въ нашемъ, несомнѣнно, религіозномъ и богомольномъ кругу Ольга Петровна возмущала своимъ показнымъ благочестіемъ. Говорятъ, она порядкомъ надоѣдала митрополиту Филарету своими частыми посѣщеніями, такъ что въ насмѣшку ее прозвали „женой митрополита“. Режимъ у нея въ семействѣ былъ аракчеевскій, и уваженіе къ религіи и здоровой морали поддерживалось неукоснительно физическими воздѣйствіями. Про нее ходило много анекдотовъ. Вотъ одинъ изъ нихъ. У нея существовалъ такой порядокъ, что никто изъ дѣтей не смѣлъ прикоснуться къ пищѣ безъ благословенія матери. Однажды, послѣ длинной и утомительной праздничной обѣдни, вернувшись домой, старшая ея дочь Сашенька, уже взрослая барышня¹), страшно проголодалась. Ольга Петровна еще не выходила къ чаю, а закуска была уже на столѣ и выглядѣла соблазнительно. Сашенька не выдержала, и съѣла кусочекъ селедки. Должно-быть, тощему желудку селедка пришлась не поутру, потому что

¹ Она была впоследствии замужемъ за Семеномъ Григорьевичемъ Котовымъ.

барышню стошнило. Она увидала въ этомъ персть Божій. Не успѣла Ольга Петровна выйти изъ опочивальни, какъ дочь ея съ рыданіями бросилась передъ ней на колѣни. „Маменька, простите!“ — Что съ тобою, Сашенька? — „Маменька, я виновата передъ вами!“ — Въ чемъ? — „Маменька, безъ вашего благословенія я съѣла кусокъ селедки, и почувствовала себя тотчасъ же очень дурно. Богъ покаралъ меня!“ Теперь наступилъ чередъ Ольгѣ Петровнѣ утопать въ слезахъ. Воскликая: „Вотъ какихъ дѣтей Богъ мнѣ даровалъ!“ она повлекла ихъ всѣхъ въ моленную, чтобы возблагодарить Творца. Произошло продолжительное моленіе, паки обильное пролитіе слезъ и лобызанія, а дѣти все стояли голодные. — Сыновьямъ Ольга Петровна строжайшимъ образомъ запрещала глядѣться въ зеркало, утверждая, что это — дьявольское изобрѣтеніе. Какъ всегда бываетъ, изъ такого режима не вышло толка: дочери не были счастливы, а сыновья по смерти стариковъ промотали наслѣдство. Между тѣмъ Егоровы въ свое время считались очень состоятельными людьми.

Анна Михайловна Зѣвакина была единственной сестрой моего отца, которую я хорошо зналъ, потому что умерла она лишь въ концѣ 1860-хъ годовъ. Я былъ уже студентомъ, когда мать посылала меня къ ней съ поздравленіями три раза въ годъ: въ Рождество, на Пасху и въ именины ея, 3 февраля. Она была уже семидесятилѣтней старухой, очень полной и обрюзглой. Черты лица ея были рѣзкія и непріятныя. Она носила всегда нагофренный чепецъ, изъ-подъ котораго выбивались сѣдые волосы, когда-то черные, какъ у отца. Между нависшими мохнатыми бровями легла глубокая вертикальная морщина, придававшая всему лицу суровое выраженіе, а глаза, сохранившіе еще остроту и проныцательность, смотрѣли жестко и сухо изъ впалыхъ потемнѣвшихъ орбитъ. Подъ отвислыми щеками, надъ верхней губой чернѣли усы, а нижняя губа выдавалась высокомерно впередъ. А между тѣмъ общее впечатлѣніе этого старческаго безобразія было таково, что было когда-то время, когда тетка моя могла быть красивой брюнеткой. Эту перемену часто можно наблюдать у южанокъ. Итальянки, гречанки, армянки, бывая иногда прямо ослѣпительной красоты въ мо-

лодости, рано старѣются и довольно быстро, еще не достигши преклоннаго возраста, дѣлаются неузнаваемыми.

У Анны Михайловны болѣли ноги, и передвигалась она съ большимъ трудомъ. Принимала она меня всегда облеченная въ дорогую кашемировую шаль, сидя на диванѣ въ своей моленной, стѣны которой были увѣшаны старинными образами въ золотыхъ и серебряныхъ окладахъ со множествомъ теплившихся разноцвѣтныхъ лампадокъ¹⁾. Когда я входилъ, тетка черезъ силу приподнималась, чтобы привѣтствовать меня. И я зналъ, что этимъ привставаньемъ она желала оказать почетъ не мнѣ, почти мальчику, а приславшей меня матери, которой я являлся представителемъ. Признаться, я не испытывалъ ни малѣйшаго удовольствія при этихъ посѣщеніяхъ, ибо манеры тетки и весь складъ ея ума были мнѣ непріятны. Она считала почему-то своимъ долгомъ строго экзаменовать меня относительно моего поведенія, хотя къ этому у нея не было никакого основанія въ виду рѣдкости нашихъ свиданій и отсутствія какой бы то ни было интимности. При допросѣ, которому я подвергался, у нея весьма опредѣленно выступала тенденція во что бы то ни стало найти какія-нибудь прорухи либо въ моемъ поведеніи, либо въ моемъ образѣ мыслей. И она такія погрѣшности всегда успѣшно обнаруживала. Я уходилъ отъ нея иначе, какъ уличенный въ цѣломъ рядѣ проступковъ, изъ которыхъ тячайшіе всегда сводились къ тому, что во-первыхъ я рѣдко хожу въ церковь, а во-вторыхъ не умѣю уважать старшихъ.

У насъ всѣ знали, что у Анны Михайловны тяжелый характеръ. Я мало знакомъ съ исторіей ея семьи, но было извѣстно, что она держала всѣхъ въ ежовыхъ рукавицахъ, не исключая взрослыхъ, давно женатыхъ сыновей. Ея внуки, которыхъ коснулось вѣяніе вольномыслія, называли бабушку втихомолку „феодальной системой“. Полновластіе ея имѣло экономическую причину: по завѣщанію ея мужа, она сдѣлана была единственной наслѣдницей всего его движимаго и недвижимаго имущества.

Старшій сынъ Анны Михайловны, Петръ Андреевичъ, умеръ холостымъ, но уже очень не молодымъ еще при ея

¹⁾ Бывшій домъ Зѣвакиныхъ на Б. Полянкѣ принадлежалъ въ 1904 году почетному гражданину М. И. Алексѣеву (Жиманской ч., 2 уч., № 404, полицейскій 54). Наружный видъ его не измѣнился ни въ чемъ существенномъ.

жизни. Это былъ недалекий толстякъ, необыкновенно суевѣрный. Такъ какъ у Зѣвакиныхъ было ювелирное дѣло, Петръ Андреевичъ ѣздилъ каждый день на своей лошади въ магазинъ на Ильинку. Кучеру предписано было зорко слѣдить, чтобы ни одно духовное лицо не пересѣкало дорогу: Петръ Андреевичъ былъ глубоко убѣжденъ, что встрѣча со священникомъ — вѣрнѣйшее предзнаменованіе какой-нибудь бѣды. Конечно, при всемъ стараніи, трудно было всегда за этимъ усмотрѣть въ большомъ городѣ. Если такая неприятность происходила, Петръ Андреевичъ немедленно возвращался домой, переодевался въ другое платье и уѣзжалъ снова, но непременно на другой лошади. Однажды случилось, что три раза священники переходили ему дорогу. Это повергло его въ такое удрученное состояніе духа, что послѣ третьяго раза онъ уже не рискнулъ выѣхать, а легъ въ постель, убѣжденный въ близости своей кончины, которой однако на сей разъ еще не послѣдовало.

Николая Андреевича я мало зналъ. Слыхалъ я, что онъ въ свое время любилъ кутнуть. Подъ конецъ жизни онъ страдалъ глазами и ходилъ въ синихъ очкахъ, однакоже румянился. Когда у Зѣвакиныхъ торговые дѣла разстроились и были ликвидированы въ 1870-хъ годахъ, Николай Андреевича посадили въ „яму“ за какія-то провинности.

Лучше всего я помню Ивана Андреевича. Это былъ довольно оригинальный представитель купечества своего времени. Онъ былъ высокаго роста, довольно полонъ и держалъ себя очень прямо — словомъ, имѣлъ внѣшность презентабельную. Лицо у него было пухлое, бритое; большую лысину онъ прикрывалъ, обвивая черепъ длинными черными волосами съ висковъ и затылка. Осанка у него была важная; говорилъ онъ медленно и степенно, съ вѣсомъ, какъ бы внушая собесѣднику, что имѣетъ полное право на его глубокое уваженіе. Конечно, въ этой чертѣ была своя доля произвольнаго комизма. Самая рѣчь Ивана Андреевича отличалась витіеватостью и высокопарностью, напоминавшими слогъ официальныхъ рѣчей на торжествахъ. За исключеніемъ этой напускной взвинченности, Иванъ Андреевичъ былъ простой, добрый и вовсе не глупый человѣкъ. Онъ помнилъ много характерныхъ чертъ изъ нашей семейной

хроники, умѣлъ ихъ передавать, и въ свое время я съ удовольствіемъ прислушивался къ его рассказамъ. Зоилы, впрочемъ, явили, что онъ при случаѣ былъ не прочь присочинить чего не было. Все-таки, я очень сожалѣю, что, по свойственному юношеству легкомыслію, я своевременно не записалъ его воспоминаній о моемъ отцѣ и особенно объ отношеніяхъ послѣдняго къ своему брату Михаилу Михайловичу. Помнится, были характерныя подробности.

Иванъ Андреевичъ любилъ все официальное, торжественное, приподнятое, во вкусѣ ходячихъ представленій своего времени. Настроенный на тему „Громъ побѣды раздавался!“, онъ былъ горячимъ патріотомъ и насквозь проникнутъ идеей величія Россіи. Его интересовали общественныя дѣла, поскольку это было тогда доступно для лицъ, не относившихся къ чиновничеству. Все это въ совокупности, даже при наличности слабаго образованія и узости умственного горизонта, ставило Ивана Андреевича выше многихъ представителей купечества, не видѣвшихъ ничего кромѣ личнаго матеріальнаго интереса въ житейской суетлохѣ.

Разумѣется, онъ придавалъ большое значеніе чинамъ, орденамъ и всякимъ инымъ знакамъ отличія. Я приведу, со словъ одного общаго знакомаго, рассказъ объ одной его встрѣчѣ съ почтеннымъ Иваномъ Андреевичемъ. Было это ужъ много лѣтъ спустя послѣ кончины моей тетки, во время поѣздки Ивана Андреевича за границу. Встрѣтились они въ Парижѣ, на бульварѣ. Послѣ обмѣна привѣтствіями мой знакомый замѣтилъ, благодаря распахнувшемуся пальто, что Иванъ Андреевичъ шествуетъ облеченный во фракъ, бѣлый галстукъ и — при орденахъ: у него были медали и даже, кажется, Станиславъ втораго.

„Ба, Иванъ Андреевичъ, да вы разодрѣты, какъ на торжество?“ вырвалось у моего знакомаго. „Куда это вы направляетесь?“

— Иду въ Jardin des Plantes, важно отвѣтилъ Иванъ Андреевичъ.

Невольный жестъ изумленія со стороны собесѣдника! Слѣдуетъ припомнить, что Jardin des Plantes заключаетъ въ себѣ только естественно-историческіе музеи и зоологическій садъ.

„На что же вамъ фракъ и ордена?!“

— Какъ же, батюшка, отвѣтилъ Иванъ Андреевичъ. Я знаю, что тамъ и музеи, и звѣри разные... но, *можетъ-быть, придется представляться по начальству...*

Хотя отношенія наши съ Зѣвакиными не были близкими, однакожъ Николай и Иванъ Андреевичи не ограничивались одними праздничными визитами, а прїѣзжали къ намъ иногда играть въ карты съ моими старшими братьями. Съ семьями ихъ мы были совсѣмъ далеки.

Черезъ Зѣвакиныхъ мы находились въ родствѣ съ Марковыми, Боткиными, Рыбниковыми, Поляковыми и другими, но для меня въ то время это были только имена.

Въ моемъ раннемъ дѣтствѣ, когда мы съ няней отправлялись въ поздней обѣднѣ въ церковь Покрова въ Голикахъ, на Малую Ордынку, мы заходили иногда пить чай къ старшей моей теткѣ, Татьянѣ Михайловнѣ Хлѣбниковой. Она доживала свой вѣкъ въ скромной квартиркѣ, въ домѣ, выходившемъ окнами на „монастырь“¹⁾. Смутно припоминаю, что это была гостепріимная и ласковая старушка, ходившая, по-старинному, въ косынкѣ. Она скончалась лѣтъ семидесяти, когда мнѣ шелъ восьмой годъ. Она оставила послѣ себя двухъ сыновей и дочь, съ которыми мы близкими никогда не были. Хлѣбниковы торговали чаемъ. Черезъ дочь Татьяны Михайловны мы находились въ родствѣ съ Чечулиными и Арбатскими.

Перехожу къ моимъ теткамъ съ материнской стороны.

За четыре мѣсяца до кончины отца умеръ Козьма Алексѣевичъ Коншинъ, мужъ Марьи Сергѣевны, оставивъ ее съ шестерыми дѣтьми въ очень стѣсненномъ матеріальномъ положеніи. Онъ торговалъ москотильнымъ товаромъ, пользовался извѣстной зажиточностью, но незадолго до смерти заболѣлъ психическимъ разстройствомъ, потребовавшимъ учрежденія опеки. Понемногу дѣла запутались, капитала не было, кромѣ векселя въ 10000 рублей ассигнаціями, на удовлетвореніе котораго опекунъ Мошнинъ разрѣшилъ продать домъ, находившійся на углу 3-ей Мѣщанской и Садовой. Эти 10000 рублей

¹⁾ Домъ этотъ, бывшій Казакова, а нынѣ Татарникова, сохранилъ поднесъ свой первоначальный видъ. Онъ находится отъ церкви на сторонѣ противоположной отъ церковнаго дома, гдѣ родился А. Н. Островскій.

должны были составить единственные средства къ жизни цѣлой семьи. Тетка моя была глубоко убѣждена, что дѣла ея покойнаго мужа вовсе не были такъ дурны, и обвиняла Мошнина въ неправильномъ и своекорыстномъ управленіи. Въ бумагахъ моей матери уцѣлѣло нѣсколько писемъ, рисующихъ тяжелое положеніе Марьи Сергѣевны. Особенно тяжело было время между смертью мужа и продажей дома: она получала отъ опекуна Мошнина, бывшаго у нея жильцомъ, всего 40 рублей въ мѣсяцъ за квартиру и на эти скудныя средства должна была существовать. Неудивительно, что письма ея проникнуты вѣчной озабоченностью; къ тому же и здоровье ея пошатнулось.

Какъ образчикъ выпавшихъ на ея долю затрудненій, приведу нѣсколько выписокъ изъ ея писемъ. Находившійся въ лавкѣ товаръ надо было продавать для удовлетворенія кредиторовъ и собственныхъ нуждъ; это однако долго затягивалось изъ-за выдачи разрѣшенія Гражданской Палатой. Затѣмъ надо было добиваться утвержденія за собой дома. „Наконецъ“, пишетъ она, „секретарь согласился утвердить за мной домъ мой; тоже я нашла случай просить и первоприсутствующаго, и онъ согласенъ. Послѣдній — купецъ, къ этому только нужно съ просьбой одной; но секретарь *безъ денегъ ничего не сдѣлаетъ*. Онъ за это не беретъ меньше ста рублей серебромъ и пятьдесятъ впередъ, въ чемъ онъ дастъ ручательство. И это зависить совершенно отъ него все дѣло: мнѣ нельзя не согласиться на предлагаемую сумму, потому что это мой послѣдній кусокъ хлѣба“... „зато я могу продать домъ отъ себя, и это составляетъ (что) я могу получить за него двѣ тысячи рублей лишняго, т.-е. продать за 5000 серебромъ; а ежели продадутъ отъ Сиротскаго Суда, то только выдадутъ мнѣ 3000 рублей серебромъ по моему векселю. Чѣмъ же тутъ жить будетъ?!“ Мать моя авансировала эти 50 рублей секретарю и вообще помогала сестрѣ, за что та выражаетъ ей часто благодарность. „Я очень дурно себя чувствую,“ пишетъ Марья Сергѣевна въ 1851 году: „кровь горломъ идетъ, и грудь очень болитъ“. Тетка страдала долго катаромъ легкихъ, и умерла пятнадцать лѣтъ спустя (въ 1866 году) отъ чахотки. Говорили, что причиной болѣзни была сильная давка, въ которую она попала въ какой-то большой праздникъ въ Успенскомъ соборѣ: ей будто бы сдавили легкія.

Мать моя состояла съ сестрой въ постоянной перепискѣ, какъ по серьезнымъ дѣламъ, такъ и по разнымъ мелкимъ женскимъ хлопотамъ: покупкѣ матерій, шитью капотовъ, мантилій, бурнусовъ, вышиванью воздушовъ для церквей и т. п. При случаѣ, Марья Сергѣевна поручались деликатныя справки юридическаго характера, благодаря тому, что у нея былъ родственникъ по мужу юристъ. Письма ея къ матери носятъ характеръ изысканной почтительности и сентиментальновыраженной благодарности. Она начинаетъ письмо всегда такъ: „Милостивая Государыня, любезнѣйшая сестрица“, и кончаетъ: „съ истиннымъ почтеніемъ всегда готовая къ услугамъ и любящая и почитающая сестра Ваша“.

Впослѣдствіи Марья Сергѣевна поселилась у насъ во флигелѣ, гдѣ прожила лѣтъ 8 до самой смерти. Это была худощавая дама, черноволосая, съ сѣрыми глазами, несомнѣнно очень интеллигентная, хотя съ сильно выраженной сентиментальной стрункой во вкусѣ старинныхъ институтокъ. Она, обыкновенно сильно жаловалась на судьбу и толковала о традиціонной покорности волѣ Божьей. „Вездѣ столько хлопотъ и заботъ, особенно для неопытной женщины, но что дѣлать! Надо покоряться назначенію судьбы“. Эти слова одного изъ ея писемъ повторялись ею часто въ бесѣдахъ. Она страдала несомнѣнно наклонностью къ преувеличенію: для нея люди не были просто хорошіе или дурные, а непременно ангелы вѣротости или демоны злобы.

Съ двумя сыновьями Марьи Сергѣевны я находился впослѣдствіи въ очень хорошихъ отношеніяхъ, но это не можетъ входить въ рамки моего повѣствованія.

Другую сестру моей матери, Вѣру Сергѣевну Кобелеву, я совершенно не помню, хотя она скончалась въ 1851 году, когда мнѣ было уже около 7 лѣтъ. Это можно объяснить тѣмъ, что Вѣра Сергѣевна, по болѣзни, никогда не посѣщала насъ, а меня къ ней не пускали. Моя мать никогда объ ней не говорила; единственное свѣдѣніе объ ней осталось въ письмахъ Марьи Сергѣевны.

„Вѣрочку очень жалъ“, пишетъ она въ 1848 году, „что она живетъ въ такомъ грубомъ семействѣ и даже много свыклась съ ихъ понятіями. И слава Богу, что она не можетъ вполне понимать ихъ грубости. Я очень рада, что у нихъ

былъ Оверъ и велѣлъ ей поставить на спину пѣвки и открыть фонтанели. Давно бы надо отнестись къ Оверу. Они не понимаютъ, что эта болѣзнь довольно серьезная и требуетъ вниманія“... „Я давно ей говорила, чтобъ она хоть купила для спокойствія мягкое кресло и скамейку, но они до сихъ поръ не считаютъ нужнымъ сего сдѣлать“. Въ 1850 г. она пишетъ: „Я была недавно у Вѣрочки: она теперь тиха, но разсудокъ ничего не поправился, однако просила Васъ поклониться, когда Васъ увижу“.

Мужа Вѣры Сергѣевны, Александра Ильича, я немного помню. Это былъ пожилой брюнетъ, всегда задумчивый и грустный, что объяснялось и болѣзнью его жены и разстройствомъ его торговыхъ дѣлъ. Среди бумагъ моей матери я находилъ его неоплаченные векселя. Послѣ Вѣры Сергѣевны остались двѣ дочери: Марія Александровна, бывшая замужемъ за Алексѣемъ Филипповичемъ Каретниковымъ, и Александра Александровна, по первому мужу Телепнева, по второму Лисицына. Всѣ эти три свадьбы мнѣ памяты, потому что я возилъ иконы, сопровождая невѣсть въ церковь.

Братъ моей матери Александръ Сергѣевичъ Болдыревъ оставилъ двухъ дочерей и сына¹⁾. Изъ нихъ старшая, Анна Александровна, по первому браку Савельева, красивая и интеллигентная особа, поддерживала всю жизнь отношенія съ моей матерью, но съ братьями моими и со мной была довольно далека. Она впослѣдствіи вышла замужъ за Серг. Игн. Сазикова.

XVI.

Положеніе купечества въ ряду другихъ сословій.

Такова была наша будничная жизнь. Посмотримъ, каковы были основы нашего семейнаго міросозерцанія, нашей житейской философіи.

Вслѣдствіе отсутствія какихъ бы то ни было общественныхъ интересовъ, все вниманіе сосредоточивалось на семейныхъ и родственныхъ отношеніяхъ. Всѣ разговоры вращались на томъ, что произошло или имѣетъ произойти въ кругу

¹⁾ См. во 2-й части примѣчаніе на стран. 170.

нашей родни. Такая замкнутость влекла за собой разумеется, односторонность и узость воззрѣній. Съ моимъ дѣтствомъ совпали такія крупныя событія, какъ европейскія волненія 1848-го и 49-го годовъ и венгерская кампанія, а между тѣмъ для меня они прошли незамѣченными; я узналъ объ нихъ гораздо позже. Правда, я былъ малъ, но еслибы эти событія приковывали къ себѣ вниманіе старшихъ, о нихъ бы говорили, и я запомнилъ бы навѣрное хоть что-нибудь. Да у насъ и некому было интересоваться политикой. Самое большее, если кто нибудь изъ старшихъ братьевъ сказалъ за ужиномъ:

„Въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ пишутъ, что французы (или нѣмцы) взбунтовались, и у нихъ тамъ происходятъ большіе безпорядки“.

Вотъ и все. Конечно, это должно было пройти незамѣченнымъ. Для обывателей Большой Якиманки, по тогдашнему, такія извѣстія имѣли куда меньше интереса, нежели, напримеръ, недавняя кончина Андрея Петровича Шестова, бывшего популярнаго градского головы, и свата его Петра Михайловича Вишнякова. Этихъ хорошо знали, объ нихъ можно было поговорить. А то какіе-то тамъ французы и нѣмцы бунтуютъ! Очень намъ нужно!

Конечно, мы въ этомъ не составляли исключенія, и наше мировоззрѣніе раздѣлялось большей частью московскаго купечества. Поэтому здѣсь будетъ кстати сказать нѣсколько словъ о положеніи купеческой семьи въ средѣ тогдашняго общества въ томъ видѣ, какъ оно рисуется по моимъ раннимъ воспоминаніямъ.

Французскій историкъ¹⁾, описывая социальный строй монархической Франціи XVIII столѣтія, уподобляетъ его большому дому, занятому жильцами. Хотя всѣ этажи этого дома сообщались лѣстницей, говоритъ онъ, но въ силу историческихъ условій движеніе по ней было крайне ограничено. Каждому жильцу предоставлялось подниматься по ступенямъ лишь своего этажа, не дальше. Если онъ намѣревался идти выше, то упирался въ крѣпко запертыя двери, пройти чрезъ которыя было почти невозможно. Жильцы нижнихъ этажей знали, что верхній этажъ имъ недоступенъ. При всемъ различіи нашего историческаго развитія, устройство рус-

скаго общества во многомъ подходило къ этой аллегоріи. Такой взглядъ поддерживался и выше. Въ 1846 году императоръ Николай при посѣщеніи мѣщанскаго училища сказалъ почетному попечителю Куманину слѣдующія многознаменательныя слова: „Старайтесь внушать воспитывающимся цѣль, къ которой направлено ихъ воспитаніе, чтобы они помнили свое званіе и не имѣли бы мыслей выше онаго“. Какъ это близко напоминаетъ дѣленіе общества по ярусамъ?! Живи такъ, какъ опредѣлилъ тебѣ случай и оставь всякіе помыслы о честолюбіи и стремленіи къ улучшенію своего состоянія!

Этотъ взглядъ былъ во многомъ ошибоченъ, но въ немъ была своя хорошая сторона, по мнѣнію Тэна. Привыкая смолоду къ мысли, что имъ суждено навсегда оставаться въ томъ состояніи, въ которомъ они родились, люди приучались дорожить своимъ положеніемъ; это постоянство не могло имъ казаться ни обиднымъ, ни несправедливымъ. Ограниченность горизонта мѣшала разыгрываться воображенію и несбыточнымъ надеждамъ: всякій понималъ, что неразумно, зажмуривъ глаза, бросаться въ пропасть неизвѣстнаго будущаго. Честолюбію безпощадно урѣзывали крылья и приучали его не летать, а ходить пѣшкомъ на своихъ ногахъ¹⁾. Оно волей-неволей должно было поучаться скромности, зная, что социальныя верхи внѣ предѣловъ его досягаемости. Чрезъ это нервы напрягались меньше, меньше уставали и не такъ скоро изнашивались; люди меньше страдали отъ обманутыхъ надеждъ и непосильной борьбы. Тогда больше дорожили тихими радостями семейнаго очага, любовью родныхъ и дружбою друзей. Жизнь хоть и была ограничена тѣсными рамками, но выигрывала въ ясности и опредѣленности.

Къ сожалѣнію, этотъ оптимистически розовый взглядъ на старыя бытовыя формы находилъ себѣ примѣненіе у насъ лишь въ тѣхъ счастливыхъ семьяхъ или общественныхъ кругахъ, которые судьба поставила въ сторонѣ отъ слишкомъ упорной борьбы за существованіе, отъ слишкомъ близкой зависимости отъ грубыхъ и жестокихъ нравовъ общества, въ основѣ котораго лежало крѣпостное право.

¹⁾ Тэнъ.

¹⁾ Все это — выраженія Тэна.

Фактически тогдашнее общество было раздѣлено на касты, которыя мало отличались по культурѣ, нравамъ и обычаямъ, но рѣзко расходились по своимъ интересамъ и положенію въ государствѣ. Какъ всегда бываетъ при кастовомъ строѣ, касты эти чуждались, недовѣряли или завидовали одна другой, а иногда, смотря по обстоятельствамъ, презирали и ненавидѣли другъ друга. Націи въ томъ смыслѣ, какъ это понятіе уже выработалось западно-европейской исторіей, у насъ не было, а былъ пестрый конгломератъ отдѣльныхъ сословій, связанныхъ лишь на почвѣ принциповъ религіознаго и монархическаго. Говорить о солидарности, о какой-нибудь общности интересовъ было бы смѣшно: у каждаго сословія были свои спеціальныя и часто прямо враждебныя другимъ стремленія.

У культурныхъ народовъ роль объединяющаго и смягчающаго начала играетъ наука. У насъ этого не было. Значеніе, которымъ пользовалась русская наука въ общественномъ организмѣ, было совершенно ничтожное. Аристократамъ, представителямъ богатаго дворянства, занимавшимъ всѣ верхи, она была совершенно ненужна. Они игнорировали жалкіе русскіе университеты и, буде хотѣли серьезно учиться, учились дома, либо ѣхали за границу. Безпокоиться особенно насчетъ просвѣщенія имъ было нечего, ибо карьера ихъ все равно была обезпечена связями; просвѣщеніе привлекало ихъ лишь настолько, насколько оно давало возможность пріобрѣсти внѣшность яко бы образованнаго человѣка; больше всѣхъ наукъ нужно было умѣнье бойко говорить по-французски, потому что оно открывало двери салоновъ и покоряло сердца богатыхъ великосвѣтскихъ невѣстъ. Въ сущности же, подъ личиною европейски-цивилизованныхъ людей почти всегда скрывались самые низменные крѣпостническіе инстинкты. Высшія учебныя заведенія привлекали къ себѣ исключительно мелкое дворянство и разночинцевъ и притомъ въ огромномъ большинствѣ случаевъ не обширными и свѣтлыми горизонтами, которые открываетъ наука, а перспективой диплома, дававшего извѣстныя права по государственной службѣ. Что касается до купечества, то, какъ было указано въ другомъ мѣстѣ, оно относилось къ образованію отрицательно, видя въ немъ помѣху для торговой дѣятельности.

Отношенія между отдѣльными общественными группами слагались приблизительно слѣдующимъ образомъ. Наибольше обособленнымъ стояло духовенство. Обладая своимъ собственнымъ управленіемъ и пополняя свои ряды исключительно своимъ собственнымъ потомствомъ, оно соприкасалось съ населеніемъ почти исключительно путемъ формальнымъ: совершенія церковнаго богослуженія и требъ. Ему оказывали внѣшніе признаки уваженія, главное, я думаю, изъ суевѣрнаго страха, какъ передъ шаманами, а втихомолку презирали, считали алчнымъ и корыстолюбивымъ и сторонились отъ него. Само мало образованное и привыкшее къ подчиненію, оно могло имѣть только ничтожное вліяніе на общество. Главную роль въ государствѣ играло крѣпостническое дворянство, въ своей массѣ такое же грубое и невѣжественное, какъ и другія сословія, но при этомъ исполненное высокомѣрія и чванства истинными или воображаемыми заслугами своихъ предковъ. Юридически оно рѣзко отличалось отъ всего остального населенія имперіи правомъ владѣть населенными имѣніями и почти безконтрольнаго распоряженія трудомъ и судьбами многихъ милліоновъ крѣпостныхъ и дворовыхъ людей. Опираясь на свое привилегированное положеніе, оно одно исключительно поставляло правительственный контингентъ высшій и средній, неохотно допускало въ эту сферу постороннихъ, особенно тщательно избѣгало сближенія съ другими сословіями и зорко оберегало тѣ злоупотребленія, которыя считало своими правами. „Дворянская грамота“ давала этому сословію, единственному въ государствѣ, управляемому на азіатскій ладъ, нѣкоторое подобіе политическихъ правъ, позволяя выражать у подножія престола коллективныя желанія. Если эти желанія не всегда могли рассчитывать на свое осуществленіе, то по крайней мѣрѣ ихъ снисходительно выслушивали, такъ какъ само правительство состояло изъ представителей этого сословія и опиралось на армію, руководимую главнымъ образомъ представителями того же сословія.

Отношенія купечества къ дворянству, какъ къ сословію правящему, привилегированному, замѣнутому въ себѣ и заинтересованному въ преслѣдованіи лишь своихъ узко-сословныхъ цѣлей, было естественно полно недовѣрія, зависти и недоброжелательства. Встрѣтить дворянина или дворянку

въ купеческой средѣ было такою же рѣдкостью, какъ купца или купчиху въ дворянской¹⁾. Если это происходило, то возбуждало всеобщее живѣйшее и притомъ саркастическое любопытство по отношенію тѣхъ, кто нарушилъ обычаи своихъ кастъ. Обыкновенно объясняли это корыстными расчетами. Если купецъ принималъ дворянъ, это значило: добывается подряда, ордена или медали, наровить дочь выдать за „благороднаго“. И если, чего не дай Богъ, дворянинъ собирался жениться на купеческой дочери, судьба послѣдней заранѣе оплакивалась: что иное могъ имѣть дворянинъ въ виду, какъ не то, чтобы обобрать несчастную и затѣмъ бросить? Исключеніе могли составлять только очень богатые купеческія семьи, обладавшія достаточными средствами, чтобы „купить“ порядочнаго дворянина, но это было рѣдкостью²⁾. Также, если купецъ женился на дворянкѣ, об немъ соболѣзновали. Дворянкѣ никакъ не полагалось выходить за купца иначе, какъ не имѣя юбки за душой. А какое же благополучіе могло ожидать при такихъ условіяхъ? Извѣстное дѣло: обереть мужа, одарить свою семью, завести полюбовника изъ „своихъ“, да и уйдесть отъ мужа. Да еще смѣяться станеть: экаго дурака обошла!

Если таковы были отношенія къ „благородному“ сословію, то еще враждебнѣе относилось купечество къ чиновничеству. У меня сохранилось смутное воспоминаніе, что у насъ говорили о магистратѣ, бургомистрахъ, ратманахъ, стряпчихъ, Управѣ Благочинія, Совѣстномъ судѣ и т. п. Разумѣется, я очень мало понималъ, но съ самаго начала у меня съ этими словами стало соединяться представленіе о чемъ-то зломъ и намъ враждебномъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ сильнымъ и безпощадномъ; постепенно, у меня сложилось убѣжденіе, что

¹⁾ Въ одномъ изъ писемъ отца съ ярмарки 1838 года находится слѣдующее мѣсто: „Наденька гуляетъ съ нижегородскими *купчихою* да *дворянкою*, да съ *Василіемъ Харлампіевичемъ* (мужемъ)“. Отецъ какъ будто находилъ въ этомъ обществѣ что-то особенное, изъ ряду вонъ выходящее, какъ, напримѣръ, если бы кто сталъ водить съ собой заразъ кошку и собаку.

²⁾ Выдавать дочерей за представителей привилегированнаго сословія было политикой Владиміра Семеновича Алексѣева. Надо знать дворянское чванство того времени, чтобы оцѣнить по достоинству самопожертвованіе Кисловскихъ, Рюминыхъ, Костомаровыхъ, рѣшившихся породниться съ „аршинниками“, не боясь язвительныхъ нареканій со стороны своего сословія. Конечно, Алексѣевскіе капиталы играли при этомъ роль смятующихъ обстоятельствъ.

для успѣшной борьбы съ этимъ злымъ началомъ нужны хитрость и — деньги, а пуще всего деньги. Слово „взятка“ стало мнѣ очень рано извѣстнымъ. Нужно откупаться, платить, *чтобъ не выбирали въ какія-то должности*, въ которыя однако, почему-то, слѣдовало быть выбраннымъ; говорили, что должности эти, крайне непріятныя и опасныя, не имѣютъ ни малѣйшаго отношенія къ нашимъ непосредственнымъ нуждамъ, а навязываются извнѣ, въ силу какихъ-то законовъ и правилъ, выдуманныхъ дворянами и чиновниками со специальной цѣлью, нельзя ли насъ, купцовъ, какъ-нибудь подвести, обобрать, разорить, пустить по міру. Опасно служить, потому что чиновники требуютъ взятокъ, а если ихъ не давать, то они могутъ погубить; если же давать, то они будутъ, какъ пиявки, сосать, вытягивать деньги, и тоже разорять. Не служить — куда лучше; это трудно, но не невозможно. Нужно только съ кѣмъ-то тайкомъ повидаться, кого-то пригласить, умалить, угостить, кому-то „сунуть“, и этотъ кто-то, власть имущій, можетъ устранить дѣйствіе всякихъ законовъ и правилъ настолько, что потомъ беспокоить не будутъ и на службу не возьмутъ. Смутно сознавалось, что тутъ идетъ дѣло о какомъ-то обманѣ, но обманѣ нужномъ, неизбежномъ и извинительномъ, если не хочешь рисковать шкурой, подставлять лобъ, притомъ такомъ обманѣ, который еще не всякому удасться можетъ, а лишь людямъ тонкимъ, хитрымъ и — богатымъ.

Таково было отвращеніе и ужасъ передъ общественными должностями, на которыя, по тогдашнимъ законамъ, должны были выбираться лица купеческаго сословія. Я слыхалъ, что и отецъ когда-то служилъ. Его выбрали на какую-то должность, и онъ, скрѣпя сердце, долженъ былъ подчиниться; разумѣется, онъ былъ очень счастливъ, когда отслужилъ тотъ срокъ, который полагался¹⁾.

Но чѣмъ же собственно пугала общественная служба? Что было въ ней страшнаго? Чѣмъ могли насолить нашему брату чиновники? О, я это зналъ еще ребенкомъ: *они могли отдать подъ судъ кого и когда хотѣли, если съ ними не жить въ ладу, а быть честнымъ*.

¹⁾ Онъ служилъ засѣдателемъ отъ купечества въ гражданской палатѣ. Шпага отъ его мундира до сихъ поръ у меня хранится.

Разсказывалось множество иллюстрацій на эту тему. Одинъ разсказъ я хорошо запомнилъ. Въ Нижнемъ жилъ состоятельный хлѣбный торговецъ Алексѣй Ивановичъ Смирновъ. Не въ добрый часъ онъ взялъ большой казенный подрядъ по со- вѣсти, то есть по настоящей цѣнѣ, и не считъ нужнымъ давать взятки чиновникамъ. Они ему жестоко отомстили тѣмъ, что подвели подъ судъ и почти до тла разорили. Умирая, онъ завѣщалъ на смертномъ одрѣ своему сыну:

„Ваня, живи, какъ хочешь, воли съ тебя не снимаю, но помни мой завѣтъ: никогда не входить въ дѣла съ каз- ною! Нѣтъ тебѣ на это моего благословенія“.

Слышалъ я это лично отъ его сына, И. А. Смирнова¹⁾. Кромѣ общественныхъ должностей, купечество пугали еще опеки. Въ силу какихъ-то законовъ Сиротскій Судъ навязывалъ лицамъ купеческаго сословія опеки надъ имуществомъ малолѣтнихъ сиротъ, совершенно этимъ лицамъ постороннихъ и неизвѣстныхъ. Не могло быть ничего возмутительнѣе и нелѣпнѣе, какъ это возложеніе ответственности за чужое имущество на совершенно постороннихъ людей! Когда опека касалась сиротъ неимущихъ или малоимущихъ, она имѣла еще извѣстный смыслъ, какъ особый видъ благотворительности, и была безопасна, потому что не влекла за собою крупной имущественной отвѣтственности. Все дѣло сводилось къ выдачѣ бѣдному семейству небольшой помѣсячной субсидіи и къ подачѣ годовыхъ рапортовъ въ Сиротскій Судъ, что имущества никакого за опекаемыми не числится. Но не этихъ опеку опасалось купечество. Были опеки надъ большими состояніями, запутанными и тяжёлыми, гдѣ требо- валось вниманіе, хожденіе по канцеляріямъ, издержки изъ

¹⁾ Въ своемъ біографическомъ очеркѣ о докторѣ Гаазѣ А. О. Кони, упоминая объ учрежденіи въ Москвѣ въ 1828 году губернскаго тюремнаго Комитета при генералъ-губернаторѣ князѣ Дм. Влад. Голицынѣ, не безъ извѣстности говоритъ: „Замѣчательно, что московскій городской голова, Алексѣй Мазуринъ, „принося совершеннѣйшую благодарность за милостивое къ нему вниманіе“, категорически отказался отъ званія директора, и то же самое сдѣлали купцы Лепешкинъ и Куманинъ“. Если бы А. О. Кони далъ себѣ трудъ мысленно поставить себя на мѣсто московскаго купца того времени, который во всякой службѣ общественной имѣлъ основаніе видѣть себѣ ловушку, сопряженную съ вымогательствомъ, униженіемъ и опасностью очутиться подъ судомъ, онъ не нашёлъ бы въ отказѣ упомянутыхъ купцовъ ничего „замѣча- тельнаго“.

собственнаго кармана. Навязываніе такихъ-то опеку служило чиновникамъ Сиротскаго Суда источникомъ большихъ негласныхъ доходовъ. Отказаться отъ опеку было, говорятъ, очень трудно, не подвергая себя какимъ-то „законнымъ“ карамъ. Все зависѣло отъ оборота, которе было угодно было дать дѣлу чиновникамъ. А чиновники старались намѣренно всучить отвѣтственную опеку какому-нибудь богатому ветхозна- вѣтному купцу. Купецъ приходилъ въ ужасъ, потому что ничто не пугало тогда такъ честнаго человека, какъ пер- спектива тяжёлыхъ дѣлъ. Онъ взмалывался, нельзя ли его оставить въ покоѣ. Отвѣтъ былъ: „Нельзя, по закону“! — Да помилуйте, я никакихъ такихъ дѣлъ не знаю, гдѣ мнѣ ходить за чужими дѣлами, когда своихъ много? и т. д. — „Да вы не извольте беспокоиться, ваше степенство: все безъ васъ сдѣлается; все соблюдемъ, сохранимъ въ наилучшемъ видѣ, не пропустимъ сроковъ; вамъ только останется под- писать годовой отчетъ“. — Гмъ!... Сколько? — „Столько“. — Господи помилуй, да вѣдь это разоренье?! Помилосер- дуйте! — „Никакъ нельзя взять меньше. Сами знаете, дѣло большое, отвѣтственность огромная: ежели невнимательно къ дѣлу относиться, то вѣдь и въ Сибирь угодить можно“. — Въ Сибирь? Господи помилуй! Берите, берите, только ужъ, отцы родные, не погубите. — „Помилуйте, ваше степенство, намъ не расчетъ васъ губить“. И вотъ, подъ конецъ года обязательно является съ визитомъ чиновникъ съ портфелемъ. Нужно купцу подписать такую-то бумагу, и еще такую-то, и еще такую-то... Въ заключеніе купецъ долженъ вручать условленную сумму, чтобъ быть покойнымъ и на слѣдующій годъ. Не мудрено, что служили молебны и ставили свѣчи Иверской, когда удавалось благополучно развязаться съ по- добными опеками.

Но былъ особенный разрядъ дѣльцовъ и въ купечествѣ, которые не только не чурались подобныхъ опеку, но еще разыскивали ихъ и на нихъ основывали собственное благо- получіе. Это были такія опеки, при которыхъ опекунамъ необходимо было получать на руки крупныя суммы для расходованія. Умѣло распредѣливши ихъ по собственнымъ и чиновничьимъ карманамъ, такіе опекуны достигали полнаго благополучія. Нужно было только умѣть дѣлиться съ чи- новниками по совѣсти. Нерѣдко такія опеки кончались тѣмъ,

что отъ большого и хорошаго состоянія не оставалось ничего, и опекаемые пускались по міру. Но это уже не входило въ заботу опекуновъ: имъ нужно было только умѣть отписаться и заручиться оправдательными документами. А судъ?— Боже мой, а на что же чиновники, при тогдашнемъ-то судопроизводствѣ?!... Страшенъ сонъ, да милостивъ Богъ!...

Изрѣдка мнѣ приходилось видѣть и самихъ героевъ этихъ страховъ. Это были большей частью невзрачные люди, въ потертыхъ вицмундирахъ съ золочеными пуговицами, бритые какъ актеры, съ лицами лакейски наглыми или лакейски приниженными, нерѣдко испитыми, съ красными носами. Старшіе братья встрѣчали ихъ съ наружными знаками дружбы, а иногда и уваженія, смотря по чину. Казалось, что ихъ посѣщенію всѣ въ домѣ радуются... О чемъ они говорили съ братьями, я не могъ знать, такъ какъ эти бесѣды велись въ тиши кабинета, подальше отъ нескромныхъ, хотя бы и дѣтскихъ, ушей и глазъ, но когда чиновники уходили, братья смѣялись надъ ними, бранили ихъ, называли крапивнымъ сѣменемъ, чернильными крысами, пиявками, пьяными мордами. Я понималъ, что они ихъ презираютъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и боялся ихъ, относятся къ нимъ какъ къ существамъ одинаково противнымъ и вреднымъ. Очень характерно и то, что когда говорили объ этихъ дѣлахъ и этихъ чиновникахъ, я никогда не слыхивалъ, чтобъ упоминалось въ серьезномъ смыслѣ слово „законъ“. Законъ въ то время существовалъ лишь настолько, насколько существовала возможность обойти его. Если говорилось про чиновника: *отлично законы знаетъ*, это касалось никакъ не его умѣнья примѣнять эти законы, а именно знанія, какъ устранить ихъ, если выгодно.

Наиболѣе близкимъ къ купечеству, какъ такое же городское сословіе, были мѣщане. Платя гильдію, мѣщанинъ становился купцомъ, и наоборотъ, переставая платить гильдію, онъ возвращался въ мѣщанство. Въ такомъ же положеніи были и государственные крестьяне, которыхъ не слѣдуетъ смѣшивать съ помѣщичьими. Поэтому въ воспоминаніяхъ моихъ не сохранилось никакого слѣда о какихъ-нибудь выходкахъ или замѣчаніяхъ по адресу этихъ сословій: мы стояли къ нимъ слишкомъ близко для того, чтобъ проводить

между ими и нами какую-нибудь существенную грань. Что касается до ремесленниковъ, то у насъ ихъ не долюбливали, считая ихъ народомъ наиболѣе безпорядочнымъ и преданнымъ пьянству. Если, какъ это, къ сожалѣнію, нерѣдко случалось, кто-нибудь изъ нихъ производилъ скандалъ, говорили: „чего же другого можно ждать отъ мастеровщины?“

Рѣзче всѣхъ другихъ сословій отдѣлены были въ особую касту помѣщичьи крестьяне. Ихъ крѣпостная личная зависимость отъ другихъ людей ставила ихъ совершенно особнякомъ среди городского общества. Такъ какъ наша прислуга всегда большей частью вербовалась среди крѣпостныхъ, отпущенныхъ по оброку, то намъ очень хорошо было извѣстно, что такое значила воля помѣщика. Жилъ-жилъ себѣ у насъ какой-нибудь поваръ или горничная, которыми были довольны, какъ вдругъ являлось откуда-то приказаніе немедленно вернуться въ деревню, безъ объясненія причинъ: со вздохами и слезами люди должны были повиноваться. Вотъ почему у насъ никогда не замѣчалось того презрительнаго отношенія къ крѣпостнымъ, какъ въ тѣхъ сферахъ, гдѣ ихъ привыкли называть рабами: *у насъ ихъ жалѣли*. Но дальше идти было нельзя при кастовомъ устройствѣ. Родниться съ крѣпостными никому и въ голову не приходило, потому что при этомъ и выступало рѣзкое различіе между людьми свободными и несвободными. Нельзя было полюбить хорошую крестьянскую дѣвушку и жениться на ней, не испросивъ согласія ея душевладѣльца, такъ какъ она составляла его собственность, — согласія, которое онъ никогда не давалъ безвозмездно: въ самомъ дѣлѣ, если его крѣпостная дѣвушка выходила замужъ за человека свободного состоянія, она тѣмъ самымъ, по закону, дѣлалась свободной сама, а помѣщикъ терялъ рабочую или платежную силу. А такъ какъ денежные дѣла помѣщиковъ весьма часто бывали очень запутаны, то они пользовались подобнымъ случаемъ, чтобъ заломить за выкупъ своей крѣпостной высокую цѣну, иногда непосильную для жениха. — Еще хуже дѣло обстоило, если крѣпостной человекъ намѣревался жениться на дѣвушкѣ свободного состоянія: разумѣется, семья этой дѣвушки употребляла всѣ усилія, чтобъ ее отговорить, такъ какъ дѣвушка эта съ замужествомъ сама теряла свободу, дѣлалась крѣпостной по мужу. Не мало драматическихъ положеній со-

здали эти отношенія въ теченіе вѣковъ. Одинъ изъ такихъ эпизодовъ произошелъ въ родственной намъ семьѣ Волковыхъ, и я его передамъ здѣсь, какъ слышалъ.

Гаврила Григорьевичъ Волковъ былъ извѣстнымъ торговцемъ антикварными и художественными предметами въ 20-хъ и 30-хъ годахъ прошедшаго столѣтія, пользовался репутаціей знатока и успѣлъ уже составить себѣ хорошее состояніе. Присватался онъ къ Екатеринѣ Лукьяновнѣ Бажановой, купеческой дочери. Родители ея не прочь были дать согласіе на бракъ, если бъ препятствіемъ не служило то обстоятельство, что Волковъ былъ крѣпостнымъ богатаго помѣщика Голохвастова. Превращать свою дочь изъ свободной въ крѣпостную они рѣшительно отказались. Тогда Волковъ сталъ хлопотать о томъ, чтобъ откупиться самому. Это оказалось невозможнымъ: Голохвастовъ, отличавшійся большой гордостью, отказалъ въ просьбѣ, кичась тѣмъ, что его крѣпостной человѣкъ обладаетъ большимъ состояніемъ и представляетъ лицо не безызвѣстное въ Москвѣ. Это было въ тонѣ большихъ баръ. Разсказывали, что такой же политики держались и Шереметевы. У нихъ крѣпостные достигали миллионныхъ состояній и тѣмъ не менѣе, несмотря ни на какія предложенія, не отпускались на волю. Шереметевъ говорилъ:

„Пусть платятъ ничтожныя оброки, какъ прежде. Я горжусь тѣмъ, что у меня крѣпостные — миллионеры“.

Въ своемъ горѣ Волковъ обратился за совѣтомъ къ князю Николаю Борисовичу Юсупову, который протезировалъ ему. Князь обѣщалъ ему помочь. Случилось, что Юсуповъ и Голохвастовъ встрѣтились въ англійскомъ клубѣ за карточнымъ столомъ. Голохвастовъ былъ страстный игрокъ, и въ этотъ вечеръ ему страшно не везло. Проигравши всѣ наличныя деньги, онъ предложилъ играть на честное слово.

„Еще успѣешь!“ отвѣтилъ Юсуповъ. „Теперь я ставлю на ставку столько-то, а ты мнѣ поставь Гаврилу Волкова. Условіе такое: коли проиграешь, давай Волкову вольную“.

Голохвастовъ согласился и — снова проигралъ. Вотъ какимъ путемъ Гаврила Григорьевичъ Волковъ получилъ наконецъ давно желанную свободу.

Таковы были отношенія между людьми въ Николаевское время, которое иные почтенные люди не перестаютъ и до-

сѣлъ расписывать въ какомъ-то привлекательномъ, радужномъ свѣтѣ. Привлекательнымъ оно могло назваться только для дворянъ, жившихъ въ совершенно исключительныхъ условіяхъ покоя и удобства, пользовавшихся почетомъ, вліяніемъ и неограниченными правами по пользованію самымъ прочнымъ капиталомъ: трудомъ безправныхъ рабовъ. Для всѣхъ другихъ гражданъ государства это было тяжелое и темное время.

Никто не бичевалъ тогдашнюю Россію съ большимъ патристическимъ пафосомъ, какъ монархистъ и православный до мозга костей, извѣстный славянофилъ А. С. Хомяковъ, говоря:

Въ судахъ черна неправдой черной
И игомъ рабства клеймена,
Безбожной лести, лжи тлетворной
И лѣни мертвой и позорной
И всякой мерзости полна.

Съ другой стороны Герценъ писалъ: „Россія, подавшись реакціи, вошла въ холодный, непривѣтливый коридоръ, длинный и мрачный туннель Николаевского царствованія, когда не стало „общества“, а было въ государствѣ одно лишь „нароdonаселеніе“. Специально для москвичей эпоха эта неразрывно связана съ воспоминаніями о военномъ генералъ-губернаторѣ графѣ Закревскомъ, одномъ изъ типичнѣйшихъ ея представителей.“

XVII.

Графъ Закревскій и его время.

Конецъ сороковыхъ и начало пятидесятихъ годовъ, къ которымъ относится мое дѣтство, были одной изъ самыхъ неприглядныхъ и тяжелыхъ эпохъ русской исторіи. Никогда еще, кажется, административно-полицейскій гнетъ не достигалъ такихъ предѣловъ, никогда приниженность громаднаго большинства русскаго народа не была такъ глубока. Законы существовали только на бумагѣ. Всякій зналъ, что примѣненіе ихъ зависитъ, исключительно, отъ общественнаго положенія. Понятіе о правѣ, какъ таковомъ, оставалось только въ книгахъ и у кучки оригиналовъ-идеалистовъ, а въ жизни господствовало правило: „съ сильнымъ не борись, съ богатымъ не тянись!“ Огромное большинство жило одними матеріальными интересами, безъ какихъ бы то ни было обще-

ственных или политических идеаловъ. Горе тому, кто стремился возвыситься до идеи отечества и государства, усматривая въ ихъ настоящемъ устройствѣ не только одні хорошія стороны, но и недостатки! Какъ бы ни были благонамѣренны его цѣли, онъ становился подозрительнымъ уже тѣмъ самымъ, что осмѣливался входить въ обсужденіе основъ безъ непосредственнаго полномочія со стороны властей¹⁾. Малѣйшій неосторожный шагъ—и такой смѣльчакъ могъ подвергнуться всевозможнымъ административнымъ карамъ, которыя примѣнялись совершенно произвольно безъ малѣйшаго страха передъ общественнымъ мнѣніемъ или прессой. Было наивностью, злой ироніей или чистымъ обманомъ говорить о какихъ-либо общественныхъ и національныхъ цѣляхъ и задачахъ, о симпатіяхъ или антипатіяхъ. Существовали только цѣли и симпатіи правительства, то-есть тѣснаго круга всемогущихъ лицъ въ Петербургѣ, которыя привыкли во всемъ руководиться личными вкусами и усмотрѣніями.

Прежде всего это было коренной и очень тяжелой ошибкой во взглядахъ самого Императора Николая. Онъ всегда старался всѣхъ убѣдить, что онъ—центръ всего, что онъ призванъ воплощать въ своей особѣ всегда, вездѣ и во всемъ всю имперію и являться наилучшимъ и наисовершеннѣйшимъ представителемъ ея интересовъ. По-своему, онъ, разумѣется, любилъ Россію,—особенно ея величіе, какъ онъ его понималъ,—но подъ условіемъ, чтобъ она ни въ чемъ не выходила изъ его воли. Онъ не допускалъ, что, при огромномъ ея объемѣ и крайнемъ разнообразіи населенія, многіе запросы и насущныя потребности могутъ ему остаться неизвѣстными, другіе—дойдутъ до его свѣдѣнія въ неполномъ или извращенномъ видѣ, третьи—не будутъ имъ самимъ поняты и оцѣнены по достоинству за отсутствіемъ спеціальныхъ познаній. Вотъ причина, почему даже въ воспоминаніяхъ своихъ искреннихъ почитателей Императоръ Николай, даже въ лучшихъ, благороднѣйшихъ и справедливѣйшихъ своихъ поступкахъ, рѣдко является представителемъ одной законности, какъ высшей гарантіи общественного блага. Онъ дѣйствуетъ въ боль-

¹⁾ „На что-де имъ знать, что дѣлается съ Россіей; ихъ дѣло жертвовать, когда велить!“ писалъ иронически Ю. Самаринъ кн. Черкасскому еще въ 1857 году.

шинствѣ случаевъ спазматически, какъ *deus ex machina*, заботясь о справедливости не столько примѣненіемъ закона, сколько личнымъ убѣжденіемъ и настроеніемъ, выражающимся разсѣченіемъ гордіева узла, болѣе или менѣе удачнымъ, но все-таки на азіатскій фасонъ, во вкусѣ Гарунъ-аль-Рашида. Поэтому и его безапелляціонные приговоры, хотя часто и совпадали съ требованіями истинной справедливости, были по существу все-таки актами личнаго усмотрѣнія и только еще ярче подчеркивали неудовлетворительность всей системы и крайне жалкое состояніе администраціи и юстиціи. Камертонъ Зимняго дворца, разумѣется, проникалъ весь правительственный механизмъ сверху внизъ, отъ высшихъ сановниковъ до самыхъ послѣднихъ ступеней іерархической лѣстницы, становясь все грубѣе. Въ концѣ концовъ, двигателемъ всего являлся чистый произволъ. Типичнѣйшимъ выразителемъ всей тогдашней системы былъ тотъ легендарный городничій захоластнаго городка, который не могъ выносить самаго слова „законъ“, при одномъ упоминаніи объ немъ входилъ въ ражъ, топалъ ногами, дѣлалъ непристойные жесты и восклицалъ: „Законъ?! Вотъ тебѣ гдѣ законъ! Меня сюда самъ Царь поставилъ, а Царь выше закона. Значить, и я выше закона“.

Таковъ былъ и графъ Арсеній Андреевичъ Закревскій, московскій военный генералъ-губернаторъ и почти неограниченный паша московскаго вилайета съ 1848 по 1857 годъ. Въ великосвѣтскихъ кругахъ, гдѣ его не боялись, его такъ и прозвали *Arsénic-pacha*.

Всѣ имѣющіяся свѣдѣнія о графѣ Закревскомъ даютъ для характеристики его однородныя и очень опредѣленныя черты. Это былъ человѣкъ очень ординарный, по уму уровня невысокаго, къ тому же дурно воспитанный и не только мало образованный, но и малограмотный. Обхожденіе его съ подчиненными и низшими отличалось грубостью; онъ имъ говорилъ „ты“, бывалъ съ ними крайне несдержанъ на языкъ и нерѣдко опускался до площадной брани. Всѣ его замашки доказывали убѣжденіе въ полной безнаказанности. Онъ былъ увѣренъ, что, будучи призванъ воплощать въ себѣ высшую государственную власть, онъ стоитъ выше всякихъ законовъ, писанныхъ только для людей незначительныхъ, и отвѣтственъ во всѣхъ своихъ поступкахъ только передъ личностью самого Государя. Такой взглядъ считался тогда многими за вы-

раженіе высшей добродѣтели и мудрости¹⁾). Не существовало никакихъ вопросовъ общаго или частнаго характера, въ которые онъ бы не вмѣшивался. Ни о подсудности, ни о какихъ либо подлежащихъ инстанціяхъ онъ не заботился. Вмѣшавшись же въ какое-нибудь дѣло, иногда совершенно въ разрѣзъ съ существовавшими законоположеніями, онъ рѣшалъ его какъ Богъ на душу положить, но всегда властно и авторитетно, зная, что противорѣчить ему не посмѣютъ: не было тайной, что, отправляя Закревскаго въ Москву, Государь снабдилъ его почти неограниченными полномочіями по отношенію къ личной неприкосновенности гражданъ.

Невольно задается вопросъ: почему понадобился Государю такой сотрудникъ? Назначеніе Закревскаго было однимъ изъ послѣдствій реакціоннаго направленія, усилившагося въ Петербургѣ послѣ революціонныхъ движеній въ Европѣ въ 1848 году. Правительство было напугано. Оно опасалось, какъ бы подъ вліяніемъ европейскихъ событій зарубежный пожаръ не перекинулся и къ намъ. Изъ того, что въ Москвѣ существовали отдѣльные совершенно безобидные кружки просвѣщенныхъ и свободомыслящихъ лицъ, которые критически относились къ существующимъ порядкамъ и многое въ нихъ не одобряли, исполненная подозрительности власть заключила, что Москва „фрондируетъ“, что Москву „надо подтянуть“. Выборъ палъ на давно бывшаго въ тѣни Закревскаго. Назначая его военнымъ генералъ-губернаторомъ въ Москву, Государь будто бы выразился такъ:

¹⁾ Я лично знавалъ одного штатскаго „генерала“ такой формации, наивнаго до цинизма въ своемъ отрицаніи обязательности закона для всѣхъ и каждого, считавшаго законъ только пугаломъ для „простого народа“. Онъ исповѣдывалъ ревностный и, самъ того не замѣчая, смѣшной культъ личныхъ отношеній съ великими міра сего, и на немъ основывалъ все государственное благополучіе. „Не мудрено быть принятымъ министромъ!“ восклицалъ этотъ философъ. „Всякій сапожникъ можетъ этого добиться. А вотъ попробуй добиться того, чтобы играть съ министромъ въ карты въ интимномъ кругу, быть имъ приглашеннымъ вмѣстѣ ѣхать къ Дороту или Донону, *видѣть его безъ жакета!*“ — Юриконсульту правленія желѣзной дороги, находившему несправедливымъ одинъ искъ по отчужденію земли у крестьянъ, возбужденный правленіемъ, этотъ генералъ внушалъ: „Не ваше дѣло толковать о несправедливости тамъ, гдѣ васъ не спрашиваютъ. Ваша обязанность только блюсти интересы дороги“. — Онъ же пріѣзжалъ лично къ мало знакомому ему члену суда съ просьбой: „нельзя ли тяжбу рѣшить въ пользу NN, моего хорошаго знакомаго?“!

„Я знаю, что буду за нимъ какъ за каменной стѣной“.

Очевидно, репутація этого правителя была уже твердо установлена. На него смотрѣли какъ на какого-то чербера, котораго главное назначеніе заключалось въ томъ, чтобы наводить страхъ. Для этого были нѣкоторыя данныя. Когда-то давно, въ концѣ 1820-хъ годовъ, Закревскій былъ министромъ внутреннихъ дѣлъ и отличился тѣмъ, что подвергъ тѣлесному наказанію городского голову какого-то южнаго городка. Этотъ подвигъ даже въ то время показался до такой степени выходящимъ изъ ряду вонъ, что никакія протекціи не помогли, и Закревскому пришлось выйти въ отставку. О томъ, чтобы судить его, не было и рѣчи. Самъ Закревскій, конечно, приписывалъ свое паденіе проискамъ враговъ.

Здѣсь я сдѣлаю небольшое отступленіе отчасти въ видахъ отмѣтки лишней черты къ характеристикѣ времени, отчасти для сохраненія живого свидѣтельства современника. При Николаѣ Павловичѣ, въ теченіе 23 лѣтъ, т.-е. почти все время его царствованія, министромъ юстиціи былъ графъ Викторъ Никитичъ Панинъ, закоренѣлый крѣпостникъ, служившій постоянной мишенью для ѣдкихъ нападокъ Герцена. Лѣтней резиденціей Панина было его подмосковное имѣніе Марѣино съ его великолѣпнымъ дворцомъ и паркомъ. Пишущему эти строки случалось не разъ въ 1890-хъ годахъ осматривать Марѣинскій дворецъ въ сопровожденіи смотрительницы, почтенной и очень неглупой старушки, бывшей крѣпостной Паниныхъ, которая хорошо помнила Виктора Никитича. Вотъ что она объ немъ рассказывала:

„Нашъ графъ былъ очень гордъ и неприступенъ. Особенно онъ терпѣть не могъ простого народа, и, бывало, бѣда ему попасться на глаза, когда онъ изволитъ прогуливаться по парку: разсердится, раскричится и выгонитъ вонъ. Да и не одинъ простой народъ его боялся. Случалось, что важныя дамы, которыя пріѣзжали къ нему съ прошеніями, падали въ обморокъ при одномъ его видѣ“.

Въ правдивости рассказчицы, склонной скорѣе къ идеализаціи добраго стараго времени, трудно усомниться. Какое однакоже своеобразное впечатлѣніе для высшаго представителя юстиціи? А между тѣмъ бібліотека, собранная въ Марѣинѣ же этимъ суровымъ и непріятнымъ вельможей, свидѣтельствуетъ, что онъ былъ человѣкъ образованный,

интересовавшийся юридической литературой, знавший нѣсколько языковъ. Та же старушка вспоминала, что графъ въ старости, когда у него ослабѣло зрѣніе, держалъ нѣсколько чтецовъ, русскихъ и иностранцевъ, которые должны были въ опредѣленные часы занимать его чтеніемъ. Какъ связать эти признаки несомнѣнной культурности съ грубыми окриками на дворню, случайно забредшую въ паркъ? Не доказываетъ ли это, что мы, русскіе, удивительный народъ, способный совмѣщать несомнѣстимые контрасты?!... Уже на что былъ радикаль Радищевъ, котораго знаменитое „Путешествіе изъ Петербурга въ Москву“ дышитъ такимъ громкимъ протестомъ противъ крѣпостного права? А между тѣмъ въ имѣніи своемъ, подъ Малымъ Ярославцемъ, самъ Радищевъ былъ жестокимъ помѣщикомъ. Нѣкій помѣщикъ Оеодоръ Ивановичъ Дмитріевъ-Мамоновъ, издавшій въ 1779 году, какъ „плодъ уединенной жизни дворянина-философа“, новую систему „Сложенія свѣта“, въ противоположность „Птолемеевой, Коперниковой, Тихобраговой и Декартовой“ и вызвавшій тѣмъ рядъ выпреннихъ прославленій подъ своими портретами, былъ однако извѣстенъ жестокимъ обращеніемъ съ крѣпостными людьми¹⁾.

Если таковъ былъ министръ юстиціи, человѣкъ во всякомъ случаѣ съ умомъ и образованіемъ, то можно представить себѣ, каковъ былъ графъ Закревскій, обладавшій такими же властными замашками, но довольно ограниченный и мало образованный.

О патріархальности административныхъ пріемовъ Закревскаго свидѣтельствуетъ цѣлый циклъ анекдотовъ, часть которыхъ зарегистрирована давно на страницахъ историческихъ журналовъ. Въ мою задачу не можетъ входить ихъ повтореніе. Я хочу здѣсь только упомянуть объ отношеніяхъ Закревскаго къ купечеству и о нѣкоторыхъ фактахъ, мало извѣстныхъ или нигдѣ не опубликованныхъ²⁾.

¹⁾ Ровинскій, Словарь русскихъ гравир. портретовъ. Также у А. О. Коня „Очерки и воспоминанія“ въ біографіи Ровинскаго.

²⁾ Очень интересныя подробности объ отношеніяхъ Закревскаго къ купечеству занесены покойнымъ Н. А. Найденовымъ въ первую часть его „Воспоминаній о видѣнномъ, слышанномъ и испытанномъ“, изданныхъ въ 1905 году въ ограниченномъ числѣ экземпляровъ на правахъ рукописи.

Слѣдуетъ вспомнить, что въ это время — да и долго еще и впослѣдствіи — обращеніе къ административному вмѣшательству, въ случаяхъ щекотливыхъ особенно, входило въ наши нравы и обычаи. Суду вообще мало довѣряли, потому что знали, что онъ почти всегда зависитъ отъ взятки. Къ тому же судебная машина дѣйствовала крайне медлительно. Въ случаяхъ экстренныхъ, требовавшихъ неотложныхъ распоряженій, было выгоднѣе обратиться къ генераль-губернатору, который имѣлъ возможность принимать быстрыя мѣры. Но въ воображеніи обывателей компетенція администраціи не была ограничена какими-нибудь узкими рамками, а охотно распространялась и на дѣла чисто судебного характера. Такъ какъ Закревскій инстанціямъ не придавалъ никакого значенія, то стоило принести ему жалобу, правильно или неправильно, по какому-нибудь частному или личному дѣлу, какъ онъ весьма охотно принималъ на себя роль рѣшителя и судьи. Въ такихъ случаяхъ къ обвиняемому или отвѣтчику посылались казаки верхомъ съ словеснымъ приказаніемъ явиться къ генераль-губернатору. По какому поводу, зачѣмъ, никогда не объяснялось впередъ. Въ этомъ былъ своеобразный устрашающій пріемъ, нѣчто въ родѣ душевной пытки, такъ что вызываемый могъ всего опасаться, нерѣдко не имѣя возможности и догадаться, въ чемъ онъ провинился. Но самый фактъ вызова уже не предвѣщалъ ничего добраго. Чѣмъ объясненіе могло кончиться, было неизвѣстно. Но прежде чѣмъ дойти до личнаго объясненія съ графомъ, надо было прождать въ пріемной нѣсколько тревожныхъ часовъ въ ожиданіи: это тоже была излюбленная манера, пытка другого рода. Но вотъ вызываютъ въ кабинетъ. Объясненіе заключалось въ томъ, что Закревскій прямо набрасывался на вызываемого, считалъ обвиненіе доказаннымъ, и, иногда не давши высказаться, постановлялъ тутъ же и приговоръ. Словесныя формы подобнаго административнаго разбирательства подчасъ отличались грубостью и несдержанностью выраженій. Эта запальчивость лучше всего свидѣтельствовала объ отсутствіи надлежащаго ума и такта и нерѣдко ставила самого Закревскаго въ неловкое положеніе, о чемъ онъ, впрочемъ, мало заботился. Такое обращеніе поразало москвичей тѣмъ болѣе, что предшественники графа по генераль-губернаторству, князья Дм. Влад. Голицыны и

А. Г. Щербатовъ, были люди благовоспитанные, оставившіе по себѣ среди купечества отличное воспоминаніе. Хорошо было еще, если, проморивши въ приемной цѣлый день, Закревскій ограничится выговоромъ, хотя бы съ упоминаніемъ о родителяхъ, и выгнать вонъ, но могло быть и хуже: Тверской частный домъ находится прямо противъ генераль-губернаторскаго, и можно было получить тамъ даровую квартиру. Можно было получить и командировку на неопредѣленное время куда-нибудь въ Нижній Новгородъ или Вологду, а то и подальше, — въ Колу напримѣръ¹⁾.

Немудрено поэтому, что одинъ ветхозавѣтный купецъ, вынужденный къ Закревскому по какому-то ничтожному дѣлу, такъ перепугался, что, не доѣхавши до генераль-губернаторскаго дома, умеръ отъ апоплектического удара у себя въ экипажѣ. Все это способствовало тому, что Закревскаго боялись, какъ чумы, и даже избѣгали говорить объ его дѣйствіяхъ при постороннихъ или прислугѣ. Ну, какъ еще донесутъ, и вдругъ на дворѣ вырастетъ злобѣщій казакъ на конѣ съ жуткимъ приглашеніемъ?!...

Съ самаго начала своей дѣятельности въ Москвѣ графъ Закревскій поставилъ себя къ купечеству въ очень опредѣленные отношенія²⁾. Въ засѣданіи шестигласной думы 15 ноября 1848 года градскій голова Семенъ Логиновичъ Лепешкинъ объяснилъ о словесномъ порученіи генераль-губернатора (Закревскаго), „что въ скоромъ времени чрезъ Москву будутъ проходить 12 полковъ, которымъ нужно для подъема тяжестей 12 троекъ лошадей со всей упряжью и телѣгами; почему его сіятельству и желательно, чтобы Московское Купеческое общество, купя *тѣхъ* лошадей, пожертвовало ихъ означеннымъ полкамъ“. „Московское Купеческое общество поспѣшило съ полной готовностью исполнить желаніе его сіятельства“, сказано въ общественномъ приговорѣ; но этого было мало. Въ послѣдствіи градскій голова доложилъ, что генераль-губернаторъ „принялъ донесеніе (о пожертвованіи) съ благосклонностію и присовокупилъ, что ему желательно бы было, чтобы Купе-

¹⁾ Въ Колу былъ высланъ сынъ купца Эйхеля за то, что позволилъ себѣ сыпать чемерицей полъ въ Нѣмецкомъ клубѣ во время танцевальнаго вечера.

²⁾ Смотри матеріалы д. Ист. Моск. Купечества, т. V. Изд. Найденова. Общественные приговоры съ 1846 по 1851 годъ.

ческое общество обратило вниманіе и на нижнихъ чиновъ, коихъ 12000 человекъ“. И на это было ассигновано 1800 рублей. За пожертвованіе троекъ и угощеніе 12 полкамъ Купеческое общество удостоилось Высочайшей благодарности за усердіе. Бумагу объ этой милости постановлено *хранить, вмѣстѣ съ прочими, въ устроенномъ для Высочайшей грамоты ковчегѣ*.

Закревскій не шутилъ съ своими словесными заявленіями. Въ іюнѣ 1848 года исправлявшій должность Московскаго градскаго головы Кирьяковъ былъ призванъ къ генераль-губернатору, и этотъ въ сильныхъ выраженіяхъ (!!) изъявилъ свое негодованіе за невнимательность Московскаго Купеческаго общества къ безсрочно-отпускнымъ, призваннымъ вновь на службу. Вина Купеческаго общества заключалась въ томъ, что оно „не распорядилось угостить сихъ воиновъ, тогда какъ въ другихъ городахъ, гдѣ подобные воины проходили, они были угощаемы на счетъ общественный“. Пришлось послѣдовать благому примѣру и выдать по 30 коп. серебромъ на каждого безсрочно-отпускного.

Закревскому неоднократно приносятся жалобы на дурное поведеніе лицъ купеческаго сословія въ надеждѣ на его вмѣшательство. Дѣла эти — несомнѣнно судебнаго характера, и, конечно, графу слѣдовало бы отсылать жалобщиковъ въ подлежащія учрежденія, т.-е. по тогдашнему, въ магистратъ. Но Закревскій не стѣснялся либо разрѣшать такіе дѣла своей властью, либо предлагать ихъ разрѣшать Купеческому обществу. Какъ увидимъ, Купеческое общество имѣло на сей предметъ гораздо болѣе точныя представленія, чѣмъ высшій представитель администраціи.

Нѣкая мѣщанка жаловалась генераль-губернатору, что купецъ Вороновъ, обольстивъ ее, воспользовался ея собственностью, выгналъ изъ своего дома прижитыхъ съ нею дѣтей, лишилъ ее денежныхъ средствъ и чрезъ то подвергъ ее тюремному заключенію. Чисто судебное дѣло! Закревскій отсылаетъ его на обсужденіе Купеческаго общества, съ замѣчаніемъ „о несвойственномъ честному человѣку поведеніи Воронова“ и предложеніемъ, исключить его изъ купеческаго сословія. Купеческое общество отвѣтило, что, не имѣя права судить Воронова, оно, по закону, не можетъ и исключить его изъ своего сословія, какъ купца 2-й гильдіи.

Одинъ обманутый мужъ жаловался Закревскому на безпутное поведение жены. Закревскій и это дѣло отсылаетъ въ домъ Градскаго общества, предлагая виновной назначить наказаніе. Купеческое общество отозвалось, что ему „въ отношеніи гражданъ порочнаго поведения предоставлено одно только право — исключать изъ своего сословія, опредѣлять же какія-либо другія наказанія ему право не дано“, и предложило самому генераль-губернатору *назначить срокъ ея исправленія по благоусмотрѣнію его сіятельства.*

Въ такихъ и подобныхъ случаяхъ Купеческое общество несомнѣнно становилось на законную точку зрѣнія. Оно постоянно или отклоняло отъ себя компетенцію, ему не принадлежавшую, или указывало, что административная власть въ силу своихъ обширныхъ полномочій могла дѣйствовать по своему усмотрѣнію, или, наконецъ, отсылало подобныя дѣла въ 1-й департаментъ магистрата — инстанцію судебную.

Въ 1850 году были Высочайше пожалованы новыя знамена Московскому пѣхотному полку. Закревскій требуетъ по сему случаю угощенія для солдатъ, и Купеческое общество ассигнуетъ 700 руб. Вскорѣ послѣ этого егерскій полкъ вступаетъ въ Москву. Графъ опять требуетъ угощенія солдатамъ и вымогаетъ 800 руб. Затѣмъ вступаетъ въ Москву Владимірскій полкъ, и, по требованію Закревскаго, изъ общественныхъ суммъ выдается на угощеніе 700 рублей.

На почвѣ такого же рода требованій Закревскій дошелъ до послѣднихъ границъ дерзости. Однажды, принимая и распекая городскихъ уполномоченныхъ за отсутствіе рвенія при пожертвованіи, онъ позволилъ себѣ назвать градскаго голову Кирьякова — хотя и въ его отсутствіе — „дуракомъ“. И все это ему сходило съ рукъ! Только вышелъ въ отставку оскорбленный имъ градскій голова.

Случалось, что второпяхъ Закревскому привозили для объясненій совсѣмъ не тѣхъ лицъ, которые требовались. П. И. Бартеневъ, издатель „Русскаго Архива“, рассказывалъ мнѣ, что однажды въ молодости неожиданно получилъ черезъ казака приказаніе явиться къ генераль-губернатору. Вины никакой онъ за собой не зналъ. Не давши ему, по обыкновенію, раскрыть рта, Закревскій сталъ его распекавать за какой-то будто бы имъ учиненный въ публичномъ домѣ скандалъ. Когда графъ вдоволь накричался, Бартеневу удалось

разъяснить, что, очевидно, произошло недоразумѣніе, и его обвиняютъ за чью-то чужую вину. Указавъ на свою хромую ногу, Бартеневъ добавилъ:

„Участіе въ такомъ дебошѣ было бы для меня и физически несовсѣмъ удобнымъ, ваше сіятельство“.

Графъ затихъ и улыбнулся: Бартеневъ все-таки былъ стараго дворянскаго рода. Воспользовавшись этимъ, Бартеневъ продолжалъ:

„Я счастливъ, ваше сіятельство, что этотъ случай доставилъ мнѣ возможность познакомиться съ вами. Мнѣ извѣстно, что вы были при Аустерлицѣ. Не будете ли вы такъ добры дать мнѣ нѣкоторые разъясненія по поводу этого сраженія?“

Тогда графъ совсѣмъ смягчился, пригласилъ Бартенева сѣсть и рассказалъ ему свои воспоминанія.

Пріѣхалъ въ Москву французъ Сулье, содержатель цирка, имѣвшій громкій титулъ „италмейстера его величества султана турецкаго“. Чтобъ получить разрѣшеніе на устройство представленій съ участіемъ наѣздниковъ, гимнастовъ и акробатовъ, онъ явился къ графу Закревскому въ расшитомъ золотомъ турецкомъ мундирѣ. Такъ какъ потребовались какія-то справки, графъ предложилъ Сулье явиться за отвѣтомъ въ одинъ изъ слѣдующихъ дней. Случилось, что этотъ день былъ царскій, когда иностранные консулы считали своей обязанностью дѣлать officialный визитъ генераль-губернатору. Пріѣхалъ и греческій консулъ въ полной формѣ. Въ то время, какъ онъ только что началъ подниматься по лѣстницѣ генераль-губернаторскаго дома, наверху показался самъ Закревскій и сталъ быстро спускаться ему навстрѣчу, торопясь на какой-то большой пожаръ. Увидавъ предъ собой человѣка въ блестящемъ мундирѣ и не взглянувъ, графъ принялъ впопыхахъ консула за Сулье и мимоходомъ крикнулъ ему:

„Пляшите, скачите, прыгайте! Разрѣшаю“.

Можно себѣ представить недоумѣніе греческаго консула отъ такого необыкновеннаго пріема!

Какъ это, такъ и послѣдующее рассказывалъ мнѣ Иванъ Алексѣевичъ Смирновъ, московскій коммерсантъ 1840-хъ годовъ, старый пріятель нашего семейства:

„По моей торговлѣ галантерейнымъ товаромъ мнѣ требовалось ѣздить разъ въ годъ въ Парижъ. Послѣ нѣсколькихъ

поѣздокъ жизнь тамошняя мнѣ такъ понравилась, что рѣшилъ совсѣмъ туда переселиться. По тому времени надъ было это сдѣлать умненько. Послѣ февральской революціи стали косо смотрѣть на отѣзжающихъ и дѣлать всякія затрудненія при выдачѣ заграничныхъ паспортовъ. Намъ торговцамъ, конечно, съ этой стороны нельзя было ставить препятствій, но простымъ путешественникамъ приходилось платить за паспортъ по 500 руб. ассигнаціями. Хоть и купецъ я, а не могъ сомнѣваться въ томъ, что если графъ Закревскій провѣдаетъ про мое намѣреніе навсегда оставить Россію, то мнѣ могутъ грозить большія непріятности. Съ помощью добрыхъ людей мнѣ удалось втихомолку перевести мой капиталъ за границу и поручить ликвидацію моихъ дѣлъ надежному пріятелю. Оставалось только получить паспортъ. Я подалъ прошеніе, и мнѣ назначенъ былъ день полученія. Выдавались паспорта тогда лично графомъ Закревскимъ. Не безъ душевнаго трепета иду къ нему наверхъ. Ну, разумеется, заставилъ долго ждать: это ужъ у него было такое правило проморить. Наконецъ зовутъ. Вхожу въ кабинетъ. Стоитъ посрединѣ Закревскій и держитъ въ рукахъ мой паспортъ.

„Ты — Смирновъ?“ спрашиваетъ.

— Я, ваше сіятельство.

„Ты ѣдешь въ Германію и Францію?“

— Точно такъ, ваше сіятельство.

„Вотъ твой паспортъ, братецъ. Помни, — продолжалъ онъ, возвысивъ голосъ, — что ты ѣдешь въ страны, гдѣ безбожники и бунтовщики потрясли всѣ основы. Не забывай, что ты вѣрноподданный русскаго царя. Я тебѣ это говорю не какъ генераль-губернаторъ, а какъ отецъ“.

Мы видимъ, какъ Закревскій обращался къ купечеству за „добровольными“ пожертвованіями. Насколько тутъ причастна была добрая воля, видно изъ слѣдующаго. Во время Крымской войны Закревскимъ было разслано по купечеству воззваніе о желательности пожертвованій на военныя нужды. Такое воззваніе было получено и у насъ. Помню общую озабоченность и семейный совѣтъ, въ результатъ котораго постановлено было командировать къ генераль-губернатору брата Сергѣя. Его возвращенія ждали съ безпокойствомъ. Наконецъ онъ пріѣхалъ. Всѣ старшіе

около него и тотчасъ заперлись съ нимъ въ кабинетъ, чтобы выслушать его сообщеніе въ глубочайшемъ секретѣ, но чрезъ нѣсколько времени вышли съ радостными лицами и говорили, что, благодареніе Богу, брату Сергѣю удалось „насъ отстоять“. Оказалось, что сборъ „добровольныхъ“ пожертвованій производился въ канцеляріи генераль-губернатора слѣдующимъ манеромъ: чиновникъ спрашивалъ имя, глядѣлъ затѣмъ въ реестръ и объявлялъ сумму, подлежащую къ уплатѣ. Говоря проще, это былъ налогъ, установленный самовольно графомъ Закревскимъ. Разница заключалась только въ томъ, что противъ цифры этого новаго налога допускался протестъ; происходилъ торгъ; тѣ, кто были побойчѣе, добивались скидки, а тѣ, кто потише и боязливѣе, уплачивали безпрекословно. Брата моего хвалили именно за то, что онъ настоялъ на пониженіи сбора съ нашего семейства. Въ бумагахъ моей матери сохранилась и благодарность за сдѣланное „добровольное“ пожертвованіе за подписью знаменитаго графа. — Какъ обходились генераль-губернаторскіе чиновники при этомъ съ купечествомъ, можно судить по слѣдующему примѣру. Съ богатаго купца Лукутина было определено добровольное пожертвованіе въ какой-то цифрѣ, которую онъ почелъ для себя отяготительной и упомянулъ при этомъ что-то о тяжелыхъ временахъ. На это чиновникъ саркастически замѣтилъ:

„Если вы такъ бѣдны, то не хотите ли войти къ его сіятельству съ прошеніемъ о денежномъ вспоможеніи? Его сіятельство можетъ-быть войдутъ въ ваше положеніе¹⁾“.

Случалось Закревскому, опираясь на свои полномочія, сдѣлать и доброе дѣло. Однажды явилась къ нему французенка-гувернантка съ жалобой на какого-то богатаго помѣщика, который выгналъ ее, не уплативъ жалованья за прожитое при его дѣтихъ время. Графъ послалъ за помѣщикомъ, принялъ его съ глазу на глазъ очень любезно и сообщилъ, между прочимъ, о заявленной на него претензіи. Струсившій помѣщикъ призналъ правильность жалобы и только сослался на какія-то побочныя обстоятельства, помѣшавшія ему расквитаться съ гувернанткой.

„Я такъ и зналъ, что тутъ недоразумѣніе“, замѣтилъ За-

¹⁾ Изъ моихъ бесѣдъ съ Н. А. Найденовымъ.

крескій, „и, желая спасти благороднаго дворянина отъ нареваній, самъ расплатился съ французенкой изъ своихъ денегъ“.

Понятно, помѣщикъ тотчасъ же поторопился расчитаться съ такимъ неудобнымъ кредиторомъ, и деньги были вручены жалобщицѣ.

По отношенію къ крѣпостному праву Закревскій былъ его яримъ защитникомъ и не вѣрилъ въ искренность намѣренія Верховной власти упразднить его. Когда, по кончинѣ Николая I, были предприняты первые шаги для осуществленія освобожденія крестьянъ, Закревскій относился къ нимъ враждебно, говоря:

„Въ Петербургѣ глупости затѣяли“.

Конецъ дѣятельности Закревскаго наступилъ вскорѣ по воцареніи Александра II. Во время коронаціонныхъ торжествъ произошелъ слѣдующій инцидентъ. Московское купечество задумало чествовать войска обѣдомъ, который хотѣлъ почтить своимъ присутствіемъ и молодой Государь. Пріѣхавъ еще до обѣда, Закревскій распорядился выпроводить изъ манежа купцовъ-распорядителей, т.-е. попросту выгналъ вонъ хозяевъ праздника. Это стало извѣстно и крайне не понравилось Государю, который не долюблялъ Закревскаго. Этотъ подвигъ Арсеника-паши былъ каплей, переполнившей чашу, и вскорѣ послѣ этого Закревскому предложено было подать въ отставку. Повидимому, онъ чувствовалъ себя неловко на родинѣ. Онъ окончилъ жизнь лѣтъ восемь спустя въ итальянскомъ захолустьи, въ небольшомъ имѣніи, купленномъ имъ около городка Прато, близъ Флоренціи.

XVIII.

Няня учить меня грамотѣ. — Первая моя литература. — Соціальныя недоумѣнія. — Четыи Миней. — Крѣпостныя идилліи. — Патріотическіе стихи начала Крымской войны.

Первыми познаніями въ русской грамотѣ и письменности я обязанъ моей нянѣ. Конечно, она звукового метода не знала и учила по старинному¹⁾. Я живо помню и процессъ ученія.

¹⁾ Вотъ какъ назывались буквы: азъ, бѣки, вѣди, глаголь, добръ, есть, живѣте (е открытое, а не іо), земля, иже, і, како, люди, мыслѣти, нашъ, онъ, покой, рцы, слово, твердо, у, фертъ, херъ, цы, червь, ша, ща, еръ, еры, ерь, ять, я, ю, ѳита, ижица.

Мнѣ могло быть тогда 6—7 лѣтъ. Сажу я на низенькомъ дѣтскомъ стулѣ, за своимъ любимымъ колченогимъ столикомъ, съ азбукой въ рукахъ, и съ усердіемъ выкликаю на всю комнату: бра, вра, гра, дра, жра, зра и т. д. Въ воспоминаніи у меня уцѣлѣлъ именно этотъ моментъ, должно-быть одинъ изъ первыхъ, когда я съ торжествомъ созналъ, что приобрѣлъ самъ очень важное и интересное знаніе, которое будетъ имѣть огромное значеніе для всей моей будущности.

Разъ выучившись грамотѣ, я конечно не могъ на этомъ остановиться. Единственнымъ поставщикомъ книгъ былъ у насъ Карлъ Ивановичъ Штетке, у котораго и я очень рано сталъ учиться по-нѣмецки. Ко мнѣ попадало все то, что прошло чрезъ его мѣшокъ, безъ всякаго разбора: „Битва русскихъ съ кабардинцами“, „Бова-королевичъ“, „Ерусланъ Лазаревичъ и Миликтриса Карбитъевна“, рыцарскіе романы „Родригъ“ и „Гуакъ или непреоборимая вѣрность“, „Иванъ Выжигинъ“, „Московскій Телеграфъ“, комедіи Августа фонъ Коцебу и т. д. Многаго я не понималъ. Конечно, меня больше всего интересовали сказки и рыцарскіе романы. „Еруслана Лазаревича“ я долго берегъ на память. Онъ былъ напечатанъ ручнымъ способомъ на невозможной оберточной бумагѣ архаическимъ полууставомъ, притомъ только съ одной стороны листа, и сопровождался лубочными иллюстраціями, доставившими мнѣ одно изъ первыхъ эстетическихъ наслажденій моей жизни. Книжка эта относилась, навѣрное, къ XVIII вѣку, и составила бы теперь украшеніе любой антикварной бібліотеки. Но наибольшее впечатлѣніе произвелъ на меня „Гуакъ“. Я зачитывался необыкновенными подвигами этого героя; удивлялся, какъ онъ даетъ себя морочить прелестной, но коварной волшебницѣ Зевесѣ; восторгался описаніями турнировъ, на которыхъ Гуакъ блистательно одолѣвалъ всѣхъ соперниковъ. Описаніе его ратоборства съ самымъ сильнымъ изъ нихъ, исполинскимъ рыцаремъ Великосиломъ, котораго онъ побѣдилъ, но при этомъ самъ едва не изнемогъ отъ ранъ, было перечитано мною безчисленное число разъ среди слезъ. Подобныя впечатлѣнія я пережилъ впослѣдствіи только съ „Айвенго“ Вальтера Скотта и нѣкоторыми повѣстями Тургенева.

Во время экскурсій въ комнаты братьевъ мнѣ попадались на глаза „Горе отъ ума“, „Ревизоръ“, „Мертвыя души“,

„Гамлет“ и „Король Лир“. Конечно, я немедленно принимался за чтение. Первые четыре произведения показались мне скучными; больше всего мне понравился Лир. Любопытство мое было возбуждено началом, когда старый король дѣлитъ свои владѣнія между дочерьми, но перипетіи ихъ дальнѣйшихъ отношеній мне были непонятны: я видѣлъ только, что старшія дочери — злыя, а младшая — добрая. Конецъ трагедіи меня растрогала: жалъ мне было и добрую Корделию и ея несчастнаго отца. — Съ пожирающимъ интересомъ прочиталъ я въ „Библіотекѣ для маленькихъ читателей“ переложеніе Иліады, не зная еще и слова этого. Всѣ мои симпатіи были на сторонѣ троянцевъ, всѣ антипатіи — на сторонѣ грековъ. Я готовъ былъ разрыдаться при смерти Гектора. Какъ извѣстно, Иліада кончается описаніемъ погребенія этого героя, но я вѣрить не хотѣлъ, чтобъ не было продолженія этому захватывающему разсказу, тѣмъ болѣе, что мне изъ какой-то другой книги стала извѣстна исторія съ деревяннымъ конемъ. Выпросивши у матери деньги, я усердно искалъ у букинистовъ конца Иліады. Эти добрые люди, не знавшіе, что повѣсть о паденіи Трои содержится въ Энеидѣ, только пожимали плечами въ отвѣтъ на мои просьбы поискать.

Вообще, что бы я ни читалъ, я очень живо входилъ въ положеніе дѣйствующихъ лицъ, жилъ ихъ радостями и скорбями, страдалъ, любилъ и ненавидѣлъ съ ними вмѣстѣ. Особеннымъ негодованіемъ проникался я по отношенію къ измѣнникамъ и предателямъ: для меня не было типа болѣе отвратительнаго, чѣмъ Яго. Должно-быть, изъ всевозможныхъ преступленій на свѣтѣ вѣроломство было особенно противно моей природѣ. Мне казалось, что я столько же оскорбленъ, сколько и Отелло; я ходилъ по цѣлымъ днямъ, удрученный, какъ-будто затронутый самъ лично. Вдумываясь въ положеніе обольщенныхъ или обманутыхъ, я мучился вопросомъ, какъ это могло статься, что при наличности здраваго смысла они могли оказывать довѣріе недостойнымъ людямъ, своимъ врагамъ, не догадываясь, что имъ подставляютъ ловушки, — обвинялъ ихъ въ недостаткѣ предусмотрительности и осторожности. Съ другой стороны, мне казалось непонятнымъ, какъ обманщики и предатели могли сами пасть такъ низко, чтобы рыть яму хорошимъ и довѣрчи-

вымъ людямъ, желавшимъ другимъ только добра. И мне казалось, что, обладая я царской властью, я подвергъ бы всѣхъ лжецовъ и измѣнниковъ самой жестокой и мучительной казни. Все это доказывало, что я былъ впечатлительный и нервный ребенокъ.

Чтеніе порождало во мне новыя мысли. Очень рано зародился у меня въ головѣ вопросъ: почему мы живемъ въ довольствѣ, а между тѣмъ не пашемъ, не сѣемъ, не жнемъ, на охоту не ходимъ, убойнаго скота не держимъ? Почему же у насъ все есть: и хлѣбъ, и мясо, и дичь, и почему есть бѣдные, у которыхъ ничего этого нѣтъ? Это былъ тотъ первичный доктринаризмъ, на которомъ при незнаніи исторіи такъ легко прививаются социалистическія идеи. Конечно, я не могъ понимать тогда значенія торгово-промышленныхъ производительныхъ силъ и необходимаго ихъ послѣдствія — накопленія капитала. Я обращался съ моими недоразумѣніями къ нянѣ, но едва ли могъ получить отъ нея какое разъясненіе, кромѣ того, что „это, батюшка, ужъ самимъ Богомъ такъ устроено, чтобъ были богатые и бѣдные“. Знаю только, что я долго ходилъ съ моими вопросами, не находя имъ удовлетворительнаго отвѣта.

Чтобы исчерпать воспоминанія дошкольнаго періода — я поступилъ въ пансіонъ на 12-мъ году, — я долженъ упомянуть, что позже, подъ вліяніемъ няни, я сталъ зачитываться Четками-Минеей моей матери, особенно житіями подвижниковъ и мучениковъ. Вопреки тому, что часто случается со впечатлительными дѣтьми, я никогда не имѣлъ склонности переводить этотъ интересъ на личную почву, и мне никогда не приходило въ голову самому думать о подвижничествѣ, о монашествѣ. Чтеніе Четкихъ-Миней я предпочиталъ Евангелію. Уже изъ этого видно, что мне былъ болѣе понятенъ внѣшній трагизмъ первыхъ вѣковъ христіанства, чѣмъ само христіанство. За что собственно страдали люди, было для меня въ сущности безразлично; занимательна была лишь декоративная обстановка: жертвоприношенія идоламъ, свирѣпыя игемоны, жестокіе тюремщики, сверхъестественныя видѣнія, процедура мученій и казней. Говорятъ, чтеніе Четкихъ-Миней не рекомендуется для дѣтскаго возраста. Не сомнѣваюсь, что гг. педагоги имѣютъ вѣскіе доводы въ пользу этого мнѣнія, только осмѣливаюсь утверждать, что на меня

это чтеніе никакого дурнаго вліянія не оказало. Весьма скоро однообразіе житій мнѣ прискучило, и я охладѣлъ къ нимъ постепенно. А пользу они мнѣ принесли несомнѣнную: я выучился, самъ того не замѣчая, церковно-славянскому языку.

Былъ еще особый разрядъ книжекъ, который попадался мнѣ въ руки изъ того же рога изобилія, какимъ былъ мѣшокъ Карла Ивановича. Это — повѣсти и рассказы изъ русскаго быта. По этимъ произведеніямъ у меня слагались первыя представленія о крѣпостномъ правѣ, объ отношеніяхъ помѣщиковъ къ крестьянамъ, какъ о нѣкоторой счастливой аркадіи. Обыкновенно со стороны помѣщиковъ выступалъ какой-нибудь г. Добронравовъ, Добродѣевъ, Разумовъ или просто Умовъ — все многознаменательныя фамиліи, соотвѣтствовавшія какъ нельзя лучше умственнымъ и нравственнымъ качествамъ ихъ носителей. У этого образцоваго властителя ревизскихъ душъ была такая же добро-сердечная и умная супруга и не менѣе умныя и разсудительныя дѣти. Со стороны „добрыхъ поселянъ“ выступалъ между прочимъ какой-нибудь Прохоръ Захарычъ, степенный и серьезный мужикъ, типъ благочестія и мудрости въ предѣлахъ крѣпостного консерватизма, и, какъ контрастъ ему, безшабашный Фролка или Яшка. Содержаніе повѣсти заключалось въ томъ, что Фролка или Яшка, вслѣдствіе своей порочности, нарушалъ какъ-нибудь божескіе и человѣческіе законы, чѣмъ и навлекалъ на себя неудовольствіе со стороны степеннаго Прохора и добросердечнаго г. Добродѣева. Происходила коллизія, въ результатѣ которой Фролка, подъ вліяніемъ ихъ вразумленій, постигалъ всю глубину своего паденія, проливалъ слезы и обѣщалъ не оставлять болѣе стези добродѣтели, — или же, коснѣя въ порокахъ, злѣе погибалъ, подвергнувшись заслуженной карѣ недремлющей Ѳемиды въ лицѣ распорядительнаго капитанъ-исправника. Мораль сочиненія влонилась къ доказательству, что все обстоитъ въ наилучшемъ видѣ въ семъ совершеннѣйшемъ изъ существующихъ міровъ, что добрые поселяне должны всегда повиноваться съ любовію своимъ помѣщикамъ, которые только спятъ и видятъ одно ихъ счастье и благополучіе, а съ себя готовы снять послѣднюю рубашку на ихъ пользу, и что въ таковомъ порядкѣ вещей есть воля самого Бога,

который строго караетъ ослушниковъ, преимущественно изъ податнаго сословія.

Сколько лжи и возмутительнаго извращенія истиннаго порядка вещей заключали въ себѣ эти повидимому безобидныя книжонки, я узналъ только гораздо позже. Вспоминается мнѣ одна лубочная картинка. Изображенъ былъ бравый солдатъ съ щетинистыми усами и бакенбардами, въ короткомъ форменномъ полуфракѣ и высокомъ киверѣ, типъ Николаевского служаки, въ бесѣдѣ съ добрымъ поселяниномъ. Подпись внизу гласила: „Я — русскій солдатъ, и счастливѣе быть не желаю!“ Если припомнить, какъ тяжело было на самомъ дѣлѣ положеніе солдата въ Николаевское время, какой про- нѣй звучали приведенныя слова?!...

Конецъ этого періода моей жизни совпалъ съ крупнымъ историческимъ событіемъ — Крымской войной. Начало ея застало меня еще въ отцовскомъ домѣ и прошло для меня совершенно незамѣченнымъ. Только впослѣдствіи, когда общій интересъ къ войнѣ возросъ, я проникся патріотическимъ настроеніемъ и усердно списывалъ патріотическія стихотворенія, попадавшіяся подъ руку. Помню слѣдующее:

Вотъ въ воинственномъ азартѣ
Воевода Пальмерстонъ
Поражаетъ Русь на картѣ
Указательнымъ перстомъ.
Вдохновень его отвагой,
И французъ за нимъ туда-жъ!
Машетъ дядюшкиной шпагой
И кричить: allons, courage!
Полно, братцы, на смѣхъ свѣту,
Не оставайтесь въ дуракахъ.
Мы видали шпагу эту,
Да не въ такихъ рукахъ! и т. д.

По случаю захвата англичанами какихъ-то торговыхъ судовъ въ Балтійскомъ морѣ было написано стихотвореніе: „Плачь чухонца“, начинавшееся такъ:

Лайба былъ моя не пусть,
Какъ я шылъ на Тавастгустъ и т. д.

Память моя однако не сохранила представленія о какомъ-либо особомъ подъѣмѣ духа у насъ, какой-либо восторженности. Будничная жизнь шла своимъ чередомъ: вставали

въ то же время, пили, ѣли, ѣздили въ лавку по прежнему. Только стали больше читать „Московскія Вѣдомости“. Разумѣется, сначала самомнѣніе о нашей мощи было огромное, и у насъ не сомнѣвались въ благополучномъ исходѣ войны: „авось да небось — шапками закидаемъ!“ Истребленіе турецкаго флота подъ Синопомъ (18 ноября 1853 г.) и первая побѣда на азіатской границѣ какъ будто оправдывали такое настроеніе. За то послѣдующія неудачи наши привели всѣхъ въ какое-то оцѣпенѣніе. Какъ-то не вѣрилось, чтобы могли оказаться такіе наглые люди, которые не только осмѣлились перечить нашему Государю Императору Николаю Павловичу, но и простерли дерзость до того, что въ открытыхъ баталіяхъ стали одолѣвать его силу-ратъ несмѣтную. Причинъ такого прискорбнаго поворота, разумѣется, никто у насъ не понималъ. Вся семья была строго-консервативная, по старинному, и была твердо убѣждена, что Государь Императоръ ничего неправильнаго не можетъ хотѣть. За что же такая напасть, за что немилость Божія?

Кончина Императора Николая (18 февраля 1855 г.) произвела на меня глубокое впечатлѣніе. Хотя я его никогда не видалъ, я очень жалѣлъ объ немъ и ходилъ дня два со слезами на глазахъ. Должно быть у меня въ головѣ смутно складывались контрасты, которымъ я объясненія не находилъ: съ одной стороны возможное воплощеніе идеала человѣческаго величія въ трагической борьбѣ съ судьбой, съ другой — всемогущая и все уравнивающая смерть, безпощадная примирительница!...

XIX.

Я начинаю учиться по-нѣмецки.

Едва я вышелъ изъ младенческаго возраста, еще раньше, чѣмъ началъ учиться русской грамотѣ у Раиды Николаевны, ко мнѣ сталъ похаживать старый учитель моихъ братьевъ Карлъ Ивановичъ Штетке. Ни о какихъ урокахъ не могло быть и рѣчи. Онъ нанячилъ меня на колѣняхъ, распѣвая нѣмецкія пѣсенки, показывалъ мнѣ дѣтскія картинки или, взявши меня за руки, прыгалъ со мной по комнатѣ, припѣвая:

«Hopsa, hopsa, hopsasa! Falli, falli, fallidra!»

или:

«Mutter reist nach Engelland,
Bringt dem Kind ein Achselband;
Vater reist nach Polen,
Bringt dem Kind Violon».

Такіе и другіе подобные куплеты я очень скоро выучилъ наизусть, гораздо раньше, чѣмъ понялъ ихъ смыслъ. И первая пѣсни, ласкавшія мой слухъ въ дѣтствѣ, были именно эти незатѣйливыя нѣмецкія пѣсенки, пѣсни Карла Ивановича. Незамѣтно мы перешли къ элементарнымъ урокамъ со слуха. Карлъ Ивановичъ задавалъ самъ себѣ вопросы, и самъ же отвѣчалъ:

„Мать? — Die Mut-ter. — Отецъ? — Der Va-ter. — Хлѣбъ? — Das Brod. — Ножикъ? — Das Messer и т. д.

Когда нѣсколько десятковъ вокабулъ выѣдрились въ моей памяти, мы приступили къ діалогамъ: мой учитель говорилъ фразу по-русски, а я долженъ былъ сказать ее по-нѣмецки. Въ этомъ состояла главная метода преподаванія, державшаяся неизмѣнно въ теченіе цѣлаго ряда лѣтъ. Позднѣе къ этому присоединились переводы устные и письменные изъ хрестоматій и заучиваніе наизусть мелкихъ стихотвореній Рюккerta, Кернера, Бюргера, Шиллера и Уланда. Гете Карлъ Ивановичъ, какъ горячій патріотъ, не долбилъ за его политическій индифферентизмъ. Но чѣмъ бы мы ни занимались, урокъ кончался у насъ пѣніемъ; случалось, если мнѣ почему нибудь не удавалось приготовить урока, мы весь классъ проводили въ пѣніи и декламации. Я зналъ очень рано цѣлую кучу нѣмецкихъ пѣсенъ, начиная съ „Heil dir im Siegerkranz“, и составилъ себѣ изъ нихъ даже цѣлый рукописный сборникъ. И я убѣжденъ, что этимъ пѣснямъ и этимъ наивнымъ урокамъ я обязанъ знаніемъ нѣмецкаго языка по крайней мѣрѣ столько же, сколько многимъ послѣдующимъ болѣе „систематичнымъ“, болѣе „педагогичнымъ“ занятіямъ у позднѣйшихъ моихъ учителей. Уже по этому одному старый мой учитель заслуживаетъ съ моей стороны особо благодарнаго воспоминанія. Но кромѣ того онъ представлялъ изъ себя такую характерную фигуру, былъ носителемъ столькоихъ своеобразныхъ особенностей, что я рѣшаюсь посвятить ему особую главу.

XX.

Карль Ивановичъ Штетке, біографическій очеркъ.

Теперь, когда мнѣ идетъ уже седьмой десятокъ, когда я много пережилъ, чѣмъ больше я вдумываюсь въ этого человѣка, тѣмъ выше вырастаетъ онъ у меня въ памяти. Я не затруднюсь сказать, что въ той массѣ всякихъ людей, которыхъ я знавалъ, между которыми было немало и хорошихъ, онъ является одной изъ самыхъ свѣтлыхъ и благородныхъ личностей. А у него между тѣмъ было много недостатковъ, много странностей, что въ свое время сердило, раздражало, вызывало насмѣшку и глумленіе; рѣдкій человѣкъ говорилъ объ немъ безъ насмѣшливой улыбки. Изъ людей, знавшихъ его, навѣрно не было ни одного, кто не считалъ бы себя по крайней мѣрѣ вдвое порядочнѣе, сообразительнѣе, умнѣе, лучше его, и не почелъ бы за кровную обиду, еслибъ его приравнивали къ Карлу Ивановичу. Такимъ былъ и я, самолюбивый и невѣжественный мальчикъ. Еще сидя за нѣмецкими діалогами у Карла Ивановича, я видѣлъ, какъ вокругъ меня глумились и издѣвались надъ нимъ, и во мнѣ самомъ развивалось убѣжденіе, что онъ — смѣшной чудакъ, ничего больше, тогда какъ я — умный и сообразительный мальчикъ. А умнымъ и сообразительнымъ я считалъ себя преимущественно потому, что, какъ мнѣ казалось, вполне понималъ, почему надъ Карломъ Ивановичемъ смѣются всѣ, начиная съ братьевъ, прикащика Сивохина и лакея Оедора и кончая дворникомъ и прачками, — и былъ убѣжденъ, что я самъ ни за что такимъ смѣшнымъ быть не могу. И я бралъ на вѣру, что всѣ вышереченныя лица, издѣвавшіяся надъ моимъ учителемъ, были сами умнѣе и потому почтеннѣе его; я сочувствовалъ имъ, ихъ выходкамъ и остромамъ, иногда во истину необычайно грубымъ, а не ему, осмѣянному шуту всей честной компаніи.

Но, замѣчательное дѣло, чѣмъ дольше я жилъ, тѣмъ всѣ эти острословы и умники забывались мною все больше и больше, а личность стараго нѣмца выступала все ярче и рельефнѣе на фонѣ прошлаго, словно очищаясь понемногу отъ какой-то коросты, которая скрывала ее отъ моихъ глазъ. Отъ иныхъ забавниковъ нашихъ у меня въ памяти уцѣлѣли одни имена,

безъ всякаго представленія объ ихъ личности, другихъ даже и имена-то я забылъ, — а Карль Ивановичъ, какъ живой, стоитъ въ моей памяти, чистый и просвѣтленный. И понимаю я теперь, что онъ былъ если и не умнѣе, то куда лучше многихъ, которые надъ нимъ насмѣхались! Отыскивая причину этой перемѣны, я нахожу ее вотъ въ чемъ: никогда и нигдѣ не встрѣчалъ я человѣка болѣе правдиваго, чистаго душою и непосредственно добраго, чѣмъ старый нашъ Карль Ивановичъ.

Что бы про него ни говорили, но двухъ упрековъ ему невозможно было сдѣлать: во-первыхъ, чтобъ онъ когда-нибудь солгалъ, а во-вторыхъ, чтобъ у него когда бы то ни было были какія бы то ни было заднія мысли. Это была воплощенная искренность, воплощенное отсутствіе всякой задней мысли, „политики“, какъ говорится. Онъ совсѣмъ былъ лишенъ способности разсчитывать, что ему въ данный моментъ *выгоднѣе* сдѣлать, и потому всю свою жизнь прожилъ такъ, что только лѣнивый его не обманывалъ. Онъ давалъ массу уроковъ, иногда у людей съ достаткомъ, которые однако не стыдились задерживать плату, хотя и уроки-то въ большинствѣ случаевъ, оплачивались скудно: не болѣе полтинника, или даже четвертака. Видя его доброту и простоту, ему нагло смѣялись въ глаза, угощали его остатками завтрака или обѣда и полагали, что его занятія большаго возмездія и не заслуживаютъ. Онъ пожметъ своими широкими плечами, скажетъ:

„Wenn Sie kein Geld haben, so kann ich warten“ и продолжаетъ давать уроки. Это случалось съ нимъ безпрестанно. И не надо забывать, что ради своего грошеваго заработка Карль Ивановичъ долженъ былъ частенько, при всякой погодѣ, шествовать пѣшкомъ изъ Замоскворѣчья въ третью Мѣщанскую или Лефортово, такъ какъ денегъ на извозчика у него не было.

И никогда, рѣшительно никогда, — ни слова укора, жалобы! И что еще замѣчательнѣе, — никогда и тѣни забитости и приниженности, свойственныхъ людямъ, которымъ не везетъ. Онъ всегда имѣлъ такой видъ, что хотя и желательно было бы ему, чтобы дѣла его шли лучше, но, если они и впредь будутъ идти такъ же скверно, какъ шли до тѣхъ поръ, то и противъ этого онъ ничего не имѣетъ. Такого рода слада

ума не могъ бы существовать безъ сильныхъ нравственныхъ устоевъ. Сила его и заключалась въ непоколебимо твердой вѣрѣ въ Высшій Промыслъ, управляющій судьбами людей, и слова: „волосъ не упадетъ съ головы безъ воли Божіей“ были для него не мертвой буквой. Любимымъ изреченіемъ его въ минуты невзгоды было:

„Der liebe Gott lebt noch!“

Когда ему говорили, что его на иномъ урокъ завѣдомо обманываютъ, онъ замѣчалъ кротоко:

„Aber, mein Lieber, wenn die Leute nicht zahlen wollen, kann ich sie nicht dazu zwingen?“

И прибавлялъ, какъ бы въ извинение: „Der Mann hat ja eine grosse Familie und viele Ausgaben. Ich kann warten; bezahlen wird er schon!“

Случалось, что на урокъ у него отбирали подъ видомъ займа и тотъ скудный заработокъ, который ему удалось получить въ другомъ мѣстѣ. Выманить у него деньги ничего не стоило. Стоило только сослаться на нужду, и онъ, самъ нищій, отдавалъ съ готовностью послѣдній грошъ.

Только сопоставляя это идеальное безкорыстіе съ остальными свойствами его характера, мы начинаемъ понимать его. Онъ былъ по природѣ своей очень добрый и отзывчивый человѣкъ, любилъ дѣтей и въ ближнихъ своихъ не переставалъ до конца своей жизни видѣть братьевъ.

Wir sind nicht mehr, nicht minder,
Sind alle Gottes Kinder,
Und sollen uns wie Brüder freu'n.

Такъ говорилось въ одной изъ любимѣйшихъ его пѣсенокъ. И несмотря ни на что, онъ продолжалъ вѣрить, что люди созданы для того, чтобъ любить и помогать другъ другу, а не для того, чтобъ ненавидѣть. Если между ними бываютъ недоразумѣнія, то это происходитъ отъ обстоятельствъ, а не отъ злой воли. Самъ искренній человѣкъ, онъ и другихъ не переставалъ считать искренними. Выражаясь общепринятыми терминами, онъ былъ идеалистъ и оптимистъ.

Опора его была въ твердой вѣрѣ, повторяю. Онъ былъ наилучшій христіанинъ, какого я когда-либо встрѣчалъ, хотя онъ никогда не ходилъ въ церковь, ни въ лютеранскую, ни въ какую иную. Вѣра въ Бога, Его правосудіе и мило-

сердіе, проникала его всего, и онъ особенно любилъ распѣвать со мною стихи духовнаго содержанія, какими такъ богата нѣмецкая литература. При этомъ онъ и видъ принималъ сосредоточенный, складывая руки на молитву, какъ это дѣлаютъ протестанты. Еще твердымъ голосомъ училъ онъ меня старымъ нѣмецкимъ напѣвамъ. Иногда умиленіе проникало все его существо, слезы увлажняли его добрые сѣрые глаза и катились по морщинистому лицу. Я не безъ изумленія глядѣлъ тогда на него, плохо понимая въ чемъ дѣло, но ласкался къ нему, потому что чутьемъ чувствовалъ въ эту минуту, что у него золотое сердце, у этого стараго нѣмца.

Безкорыстіе его находило себѣ объясненіе въ крайне ограниченныхъ потребностяхъ. Онъ могъ жить гдѣ и какъ попало, ѣсть когда и что дадутъ, или вовсе не ѣсть. Для него все это было безразлично. Цѣлые дни могъ онъ существовать на хлѣбѣ и кускѣ сыра, и не придавалъ никакого значенія вкусному и сытному обѣду. Никогда никто не слыхалъ, чтобъ онъ напрашивался на приглашеніе, — совсѣмъ наоборотъ. У насъ часто уговаривали и упрашивали его побыть, погостить, но онъ только благодарилъ:

„Wissen Sie, ich habe eine Lection bei Peletzky“.

И уходилъ подъ этимъ предлогомъ, иногда Богъ знаетъ въ какую даль, напримѣръ изъ Кунцева къ Сухаревой башнѣ, всегда пѣшкомъ, и ничто не могло остановить его. Эта выносливость закалила его здоровье. Я не помню, чтобъ онъ былъ чѣмъ нибудь боленъ, кромѣ легкаго насморка или кашля.

Независимая черта, которая при всей мягкости его характера, никогда его не покидала, придавала его личности отпечатокъ благородства, который совсѣмъ не согласовался съ его внѣшнимъ видомъ. Это былъ по наружности почти нищій. Всегда отрепанный, въ картузѣ или шапкѣ и пальто невѣроятнаго покроя, опоясанный простымъ мужицкимъ поясомъ, съ толстой суковатой палкой на плечѣ, на которой у него за спиной болтался грязный холщевый мѣшокъ, набитый книгами, онъ немногимъ отличался отъ тѣхъ оборванцевъ, которые толпятся на папертяхъ церквей. Случалось, ему дарили новое платье, но при томъ образѣ жизни, который онъ велъ, оно черезъ два-три дня получало тотъ же затасканный видъ, какъ и старое.

Такимъ знала вся уличная Москва Карла Ивановича Штетке. Это была общеизвестная, характерная и популярная фигура. Случалось и мнѣ ходить съ нимъ. Пройдетъ-ли разносчикъ, пройдетъ-ли водовозъ или извозчикъ, увидитъ-ли насъ подворотный букинистъ или фея съ Кузнецкаго моста, безпрестанно слышишь:

„А, Карлъ Ивановичъ, здравствуйте!“

И видишь улыбку на обращенномъ къ нему лицѣ: всѣмъ любо, что встрѣтили этого смѣшного чудака.

Дѣйствительно, въ этомъ праведникѣ были такія черты, которыя дѣлали его психологической загадкой, — черты, которыя улавливаются скорѣе всего толпой и вызываютъ въ ней веселое настроеніе. Но эти черты, какъ бы смѣшны и странны ни были, не имѣли ничего общаго съ внутреннимъ міромъ Карла Ивановича, съ его моральнымъ обликомъ, а относились лишь къ его внѣшности.

Карлъ Ивановичъ родился въ Помераніи, неподалеку отъ Кольберга, въ городкѣ Бельгард¹⁾, въ 1797 году, и былъ ровесникомъ съ первымъ Германскимъ Императоромъ Вильгельмомъ I. Семья Штетке была довольно многочисленная и пользовалась извѣстнымъ достаткомъ. Къ памяти своего отца, который былъ суровъ и изрядно поколачивалъ свое потомство, Карлъ Ивановичъ относился безъ особой любви, зато съ тѣмъ большимъ чувствомъ вспоминалъ о матери. Все образованіе свое онъ получилъ въ низшей школѣ своего родного городка и припоминалъ не безъ горечи, какъ учитель вѣдрялъ науку въ головы юношества посредствомъ побоевъ линейкой. Въ 1815 году Карлъ Ивановичъ уже былъ солдатомъ и вмѣстѣ съ прусскою арміею участвовалъ во взятіи Парижа. Во время оккупации онъ научился кое-какъ по-французски. Къ этой порѣ его жизни относится выработка основной черты его характера: страстнаго, специально прусскаго патріотизма, слѣпой вражды ко всему французскому и восторженнаго почитанія національных нѣмецкихъ

¹⁾ Несомнѣнно нѣмецкое славянское слово: Бѣлградъ, такъ какъ въ древности Померанія была заселена славянами (поморяне). Тамъ же неподалеку городокъ Старгардъ.

героевъ: стараго Фрица, Блюхера, Шилля, Гнейзенау. Отбывши службу, Карлъ Ивановичъ велъ нѣсколько лѣтъ бродячей жизни, побывалъ въ Даніи, Австріи, Венгріи. Однажды на Балтійскомъ морѣ, во время бури, когда онъ помогалъ матросамъ, ему оторвало канатомъ часть мизинца правой руки. Въ Россію онъ попалъ при Николаѣ Павловичѣ, въ концѣ 1820-хъ годовъ, и посвятилъ себя учительской дѣятельности. У него бывали очень хорошія мѣста: онъ жилъ долго у князя Шаховскаго, потомъ у какого-то генерала. Къ намъ онъ попалъ въ 1841 году, уже зрѣлымъ мужчиной, 44 лѣтъ.

Природа не отпустила Карлу Ивановичу блестящихъ познавательныхъ способностей, и въ немъ не было жажды знанія, которая такъ типична въ коренныхъ германцахъ. Усвоивалъ онъ все туго и памятью не блисталъ. Проживши полстолѣтія въ нашемъ отечествѣ, онъ не выучился русскому языку и всегда говорилъ на немъ отвратительно. Такъ же плохо владѣлъ онъ и языкомъ французскимъ, хотя дерзалъ давать на немъ уроки. Свой языкъ онъ зналъ недурно и писалъ правильно и каллиграфически красиво. Но у него не было никакого понятія о методикѣ преподаванія: онъ утверждалъ, что все дѣло въ прилежаніи, а не въ книгѣ, а потому учебники старые и новые были для него одинаково хороши. Онъ былъ драгоценнымъ покупателемъ для подворотныхъ букинистовъ, которыхъ избавлялъ отъ устарѣлыхъ грамматикъ, хрестоматій, лексиконовъ: эти книги всегда находились у него въ мѣшкѣ въ совершенно ненужномъ изобиліи. Также — старыя нѣмецкія библіи, молитвенники, пѣсенники, историческія сочиненія про „стараго Фрица“ или „генерала Впередъ“ (General Vorwärts), какъ звали Блюхера солдаты. Учебники онъ всегда раздавалъ даромъ, но ихъ было всегда столько, что хватило бы на тройное число учениковъ. А онъ все покупалъ и покупалъ, часто рваные и неполные экземпляры, загрязненные и пропыленные. Все это клалось въ мѣшокъ, который возрасталъ непомѣрно. Когда даже привычныя и сильныя плечи отказывались выносить грузъ, приходилось поневолѣ прибѣгать къ самооблегченію: часть книгъ выкладывалась на полъ, около постели, на которой почивалъ сей современный Діогенъ. Куча эта быстро возрастала, потому что Карлъ Ивановичъ всѣ деньги тратилъ на книги. Это была пассія, непонятная и

безтолковая. Понемногу комната заваливалась. Сперва книги владлись кое въ какомъ порядкѣ, рядами, но потомъ, послѣ спѣшныхъ поисковъ какой-нибудь изъ нихъ, раскидывались въ хаотическія груды, и такъ и оставлялись. И прислуга не имѣла права дотрогиваться, иначе Карлъ Ивановичъ обижался, принималъ угнетенный видъ и готовъ былъ бросить квартиру.

Помню такой случай. Карлъ Ивановичъ жилъ нѣкоторое время въ подвальномъ этажѣ нашего фабричнаго корпуса. Разумѣется, онъ загромоздилъ всю комнату книгами. Однажды — дѣло было зимой — груда книгъ въ его отсутствіе рухнула и совершенно завалила изнутри входную дверь. Послѣ безуспѣшныхъ попытокъ проникнуть въ свое помѣщеніе, не жалуясь никому, Карлъ Ивановичъ сталъ ночевать на лѣстницѣ, на трескучемъ морозѣ. Сколько дней онъ такъ провелъ, не знаю, но я его самъ заставлялъ въ этомъ состояніи, на лѣстницѣ, уже порядочно заполоненной книгами и отчасти занесенной снѣгомъ.

Нелѣпное собраніе старыхъ книгъ соединялось у него съ настоящимъ тряпичничествомъ. Онъ поднималъ на улицѣ рѣшительно все: засаленную бумажку, веревочку, гвоздь, старую подошву, ленточку, хлѣбную корку, кусочекъ сыра. Если его спрашивали, на что ему это, онъ неизмѣнно отвѣчалъ: „Ich kann es vielleicht gebrauchen!“

Понятно, какое разнообразіе вносилъ этотъ элементъ съ своей стороны въ загроможденіе его комнаты. Въ грудяхъ книгъ, среди всякаго сора, находили себѣ прочное убѣжище и пищу цѣлыя стада мышей и крысъ. Поэтому Карлъ Ивановичъ, какъ жилецъ, вездѣ былъ настоящей чумой для хозяина и для прислуги. Ни одинъ мало-мальски порядочный съемщикъ квартиры не соглашался брать его къ себѣ въ нахлѣбники; тамъ, гдѣ онъ поселялся, очень скоро приходили къ нему съ требованіемъ очистить помѣщеніе; прислуга ворчала и издѣвалась надъ нимъ въ лицо. Въ послѣднее время его пребыванія въ Москвѣ пріисканіе ему квартиры сопряжено было съ большими трудностями, потому что его вездѣ знали и избѣгали.

Но самая непріятная странность заключалась въ его разившейся съ годами нечистоплотности, — какой-то принципиальной, которая казалась невѣроятной для людей, не знавшихъ его лично. Выпивши рюмку вина или стаканъ

чаю, онъ непременно выливалъ послѣднія капли на ладонь и начиналъ растирать этимъ руки и лицо. Отговаривать его было бесполезно, потому что это дѣйствіе его было основано на убѣжденіи: такъ какъ отъ постоянной привычки таскать на пальцѣ тяжелый мѣшокъ суставы пальцевъ съ годами начали у него костенѣть въ согнутомъ положеніи, то онъ полагалъ, что такой массажъ способенъ сдѣлать сочлененія болѣе эластическими. Онъ не понималъ, что эти жидкости содержать въ растворахъ вещества, способныя разлагаться, что постороннимъ непріятно жать руку, обсахаренную остатками чая. Еще изумительнѣе было его умыванье. Онъ не любилъ — именно не любилъ — чистой воды и предпочиталъ мыться... въ помояхъ людскаго умывальника. Чтò нужды, что это была грязная мыльная вода, въ которой плавали всякіе отбросы?! Это именно ему и нравилось, этимъ помоямъ онъ приписывалъ цѣлебное дѣйствіе, считалъ ихъ „chemisch nützlich“. Надо только представить себѣ, что онъ этимъ способомъ мылъ себѣ не только руки, но и лицо!! Напрасны были всякія увѣщанія и просьбы. Напрасно сама прислуга, ужъ на что у насъ неприхотливая, вызывалась приносить для него чистой воды! Не было средства разубѣдить его или устыдить. Онъ краснѣлъ, принималъ угнетенный видъ и защищался всегда однимъ аргументомъ:

„Mein Lieber, ich habe doch nichts Schlechtes gethan“.

Понятно, что подобныя манипуляціи не проходили даромъ. Понемногу Карлъ Ивановичъ весь пропитался промозглымъ запахомъ помоевъ, чувствительнымъ даже на разстояніи. Впослѣдствіи непріятно было сидѣть вблизи отъ него. И досадно было, и жалко его, но помочь нельзя было ничѣмъ...

Въ предыдущемъ я показалъ, сколько было въ старомъ нѣмцѣ матеріала для ироніи и издѣвательства.

Братъ Иванъ съ самаго начала усмотрѣлъ въ Карлѣ Ивановичѣ удобную мишень для шутокъ, правду сказать, далеко неостроумныхъ. Вовсе не злой человѣкъ, Иванъ не понималъ ихъ грубости, и это одно и можетъ служить ему извиненіемъ. Онъ былъ у насъ путешникъ par excellence. Ни мать моя, ни братъ Семенъ никогда не позволяли себѣ никакихъ выходокъ;

Иванъ же Петровичъ не стѣснялся. Не говоря уже о насмѣшкахъ надъ тряпичничествомъ и нечистоплотностью Карла Иваныча, увеселеніе заключалось въ глумленіи надъ всѣмъ „нѣмецкимъ“, при чемъ нѣмецкая „глупость“ противопоставалась русской сообразительности и находчивости, которыя нерѣдко въ представленіи остроумцевъ явно смѣшивались съ ерничествомъ. Почему-то Карла Иваныча называли дезертиромъ; смѣялись надъ Лютеромъ, называя его нѣмецкимъ папой; говорили, что нѣмцы поклоняются ему, какъ богу; что пасторъ проклянетъ Карла Иваныча за то, что онъ въ церковь не ходитъ и т. п.

Когда начиналась буря этого веселья — это обыкновенно бывало за ужиномъ, — Карлъ Иванычъ принималъ сосредоточенный видъ и старался говорить какъ можно меньше. Когда ужъ очень приставали, онъ ограничивался очень короткими отвѣтами. Такъ какъ братъ Иванъ понималъ по-нѣмецки плохо, приходилось ему возражать по-русски:

„Лютеръ билъ такой же грѣшный шилавекъ, какъ я, а можетъ бить и хуже мене, а до пасторъ мене никакой дѣла нѣтъ. Въ нѣмецки церква я не кажу, потому что не карашо одѣтъ, а Богу вездѣ можно молиться. Богъ не живутъ въ церква, а въ душѣ моя“.

Былъ у насъ лакей Ѳеодоръ, порядочный плутъ и нахаль, Онъ вторилъ Ивану Петровичу и вмѣшивался безцеремонно въ разговоръ.

„Я вотъ, Иванъ Петровичъ, слышалъ новость“, говорилъ онъ, перемѣняя тарелки.

— Какую?

„Боюсь, Карлу Иванычу непріятно будетъ слышать. Я вамъ послѣ скажу“.

— Говори, говори. Коли правда, чего же Карлу Иванычу сердиться.

„Да, можетъ быть, Карлъ Иванычъ сами слышали“?

— Нэ-этъ, я не знай, говорилъ нѣмецъ, принимая все болѣе и болѣе сдержанный видъ въ предвидѣніи новой шутки.

„Нѣмецкій богъ, говорятъ, о.....ся“, продолжаетъ Ѳеодоръ.

Иванъ Петровичъ хохочетъ. Карлъ Иванычъ качаетъ укоризненно головой и говоритъ серьезно:

„Такъ не карашо говорить. Богъ русскій и нѣмецкій одна. Другой Богъ нѣтъ“.

Если „шутливость“ все шла crescendo, отбрасывая всякое приличіе, превращаясь въ прямое надругательство и обиду, и тогда Карлъ Иванычъ не терялъ самообладанія. Онъ только замѣтно краснѣлъ и дѣлался все молчаливѣе, приговаривая ко всему лишь одно:

„Immer zu! immer zu!“

И чѣмъ сильнѣе становился градъ насмѣшекъ и ругани, и чѣмъ бессмысленнѣе гоготанье расхрипевшей публики, тѣмъ онъ упорнѣе повторялъ эти два слова: „Immer zu!“

Ни на какіе вопросы онъ больше не отвѣчалъ. Это „Immer zu!“ и тотъ укоризненный тонъ, какимъ оно произносилось, до сихъ поръ звучатъ у меня въ ушахъ. Вывести его изъ себя этимъ путемъ было невозможно далѣе. Надо было уже переходить къ оскорбленію дѣйствіемъ, на что никто не рѣшался, въ виду большой физической силы стараго нѣмца. Я помню, какъ мѣрялись съ нимъ силой у насъ: никто не могъ перетянуть его, взявшись за руку; напротивъ, онъ всѣхъ легко перетягивалъ. Сдается мнѣ, что физическая сила сослужила немалую службу старому Штетке при общеніи съ моими любезными соотечественниками. Не будь ея, Богъ знаетъ, какимъ бы униженіямъ онъ могъ подвергнуться подъ веселую руку.

И поѣсть и выпить въ компаніи Карлъ Иванычъ былъ не прочь. Это тоже эксплуатировалось „шутки ради“. Въ иныхъ мѣстахъ считали забавнымъ подпоить его, при чемъ пускались въ ходъ „микстуры“, то есть смѣсь всякихъ водокъ и винъ, оставшихся недопитыми по стаканамъ; для „комизма“ въ эту смѣсь бросали щепотку перцу или соли. Послѣ одного такого пира Карлъ Иванычъ заболѣлъ. Должно быть солоно ему пришлось, потому что послѣ этого онъ пересталъ ходить къ амфитріону и получилъ непреодолимое отвращеніе отъ хереса. Всякое вино могъ пить, а не могъ выносить запаха хереса. Я долженъ однако прибавить, что никогда не видалъ Карла Иваныча пьянымъ, а только веселымъ отъ вина. Онъ всегда зналъ мѣру, и въ данный моментъ очень твердо умѣлъ отстоять себя.

Какъ бы однако насъ ни оскорбляли выходки въ родѣ вышеописанныхъ, чтобы быть вполне справедливыми при оцѣнѣ такихъ отрицательныхъ явленій, мы никогда не должны терять изъ виду общаго культурнаго уровня той

эпохи. Шуточки въ родѣ приведенныхъ имѣли бы въ наше время совершенно иное значеніе, потому что воззрѣнія стали другія. Надо помнить, что въ то время и самый объектъ грубыхъ выходокъ не относился къ нимъ съ такимъ нервно-приподнятымъ настроеніемъ, съ какимъ отнеслись бы мы къ нимъ теперь, а потому скорѣе и забывалъ, и прощалъ такіа обиды. Я глубоко убѣжденъ, что если бы упомянутый наглый лакей Оедоръ обратился черезъ полчаса съ какой-нибудь просьбой къ почтенному нѣмцу, послѣдній съ величайшей готовностью и безъ малѣйшей задней мысли исполнилъ бы, о чемъ его просить недавній обидчикъ, и это не только въ силу личной природной доброты и незлопамятности, но и въ силу патріархальности господствовавшихъ нравовъ.

Характеристика Карла Иваныча была бы неполна, еслибы я не упомянулъ еще о нѣкоторыхъ ея чертахъ.

Бѣднымъ людямъ свойственно завидовать людямъ обеспеченнымъ. Зависть такой общечеловѣческой и распространенный недостатокъ, что онъ встрѣчается въ той или иной формѣ у всѣхъ. Не говоря ужъ о низменныхъ инстинктахъ, всѣ чему-нибудь и кому-нибудь завидуютъ: таланту, уму, красотѣ, умѣнью одѣваться, положенію въ обществѣ и т. д. Завидуютъ на всякій манеръ: съ добродушной ироніей, съ тонкой ядовитой усмѣшкой, съ пѣной у рта, зеленѣя отъ злобы. Карлъ Иванычъ былъ чуть ли не единственнымъ человѣкомъ, мнѣ извѣстнымъ, который никогда и никому не завидовалъ. Нельзя предполагать, чтобъ онъ всю жизнь могъ скрывать это чувство, еслибы оно у него было: оно непременно гдѣ-нибудь и на чемъ бы нибудь да прорвалось; иначе онъ былъ бы величайшимъ дипломатомъ и хитрецомъ, какого только можно себя представить. Но именно отсутствіе всякой „политики“ было выдающейся чертой его характера, а потому и подозрѣвать его въ лицемеріи нѣтъ ни малѣйшаго основанія. Онъ дѣйствительно органически, естественно, былъ чуждъ всякой зависти. У него умъ былъ такого склада, что онъ богатству и знатности не придавалъ ни малѣйшаго значенія. Его убѣжденіемъ было: хорошо имѣть деньги, но не бѣда ихъ и не имѣть. Если отъ этого могутъ возникать какія-нибудь неудобства, то таковыя всѣ — вре-

меннаго и преходящаго характера и существеннаго ничего за собой не имѣютъ. Это не можетъ измѣнить взгляда на добро и зло и на людскіе поступки. Что дурно, то остается дурнымъ всегда и при всякой обстановкѣ, что хорошо — то не измѣнится въ примѣненіи къ бѣдному или богатому. Какъ часто приходится слышать: „Такому-то ничего не стоитъ это сдѣлать: онъ очень богатъ“. Я не могу себя представить, чтобъ старый Штетке могъ вымолвить что-нибудь подобное. Это значило бы, что онъ придаетъ извѣстное значеніе богатству, а онъ его презиралъ, или, точнѣе сказать, игнорировалъ, какъ понятіе побочное и второстепенное.

По культурному ли уровню, по натурѣ ли, Карлу Иванычу совершенно чужда была иронія и всѣ ея проявленія. Онъ слишкомъ былъ простъ душою и сердцемъ, чтобъ понимать французскій баламбуръ, англійскій юморъ и гоголевскую сатиру. Онъ понималъ явленія только прямо, какъ они есть, и не догадывался, что иногда подкладка болѣе значитъ, чѣмъ самое явленіе. Въ этомъ и заключалась необыкновенная искренность его натуры. Онъ могъ понимать и смаковать только безхитростную эпиграмму, какъ доказываетъ слѣдующій эпизодъ изъ времени его пребыванія въ семьѣ вышеупомянутаго генерала. Я запомнилъ этотъ разговоръ, потому что слышалъ его много разъ отъ Карла Иваныча.

„Einmal sagte der General zu mir: Herr Stoedtke, deklamieren Sie uns etwas! — Ich antwortete: Recht gerne geschehen, Herr General, aber ich fürchte, es wird Ihnen nicht gefallen. — Nur zu! sagte er. — Da fing ich an:

«Ein hochgebor'ner Herr, dumm, wie sehr viele sind...

Er unterbrach mich sofort: „Stille, es ist genug!“ Das Gedicht lautet nämlich so:

«Ein hochgebor'ner Herr, dumm, wie sehr viele sind,
Doch aufgeblasen stolz, den Kopf voll Spreu und Wind,
Der, weil ein' Feder Hut ihm schmücket,
Sich nie vor einem Bürger bucket,—
Der Herr von Wendt — so hiess der Mann —
Stiess jüngst an einen Bauern an.
«He, Pffegel, sieh'st du nicht vor dir?»

— Was seid ihr, sprach der Kerl, denn für ein grosses Thier?
 «Ich, Schlingel, ich? — ein Kavalier!»
 — Da war es freilich dumm,
 Man geht ja wohl der Esel wegen um!»

Нельзя было сдѣлать Карлу Иванычу большаго удовольствія, какъ попросивъ его сказать эти стихи. Онъ оживлялся; декламируя, представлялъ мимикой и голосомъ то гордаго кавалера, то продувнаго мужика. Все это было очень забавно, потому что было дѣтски наивно и безхитростно. Покончивъ, онъ раздражался тихимъ смѣхомъ, при чемъ глаза его искрились отъ удовольствія. Видно было, что великая революція докинула свою волну и до этой простой и незлобивой души.

Можетъ показаться невѣроятнымъ, что въ то время узко-полицейскаго режима этотъ чудакъ цѣлыя десятилѣтія прожилъ въ Москвѣ и свободно вездѣ ходилъ, не имѣя никакого вида на жительство. Съ тѣхъ поръ, какъ его паспортъ завалился гдѣ-то между книгами, онъ объ немъ пересталъ беспокоиться. Напрасно мы указывали ему на необходимость позаботиться о приобрѣтеніи новаго, онъ обыкновенно говорилъ:

Mein Lieber, gute und ehrliche Leute brauchen keinen Pass. Wenn ich schlecht bin, werde ich durch den Pass nicht besser werden.

Вообще онъ не любилъ никакихъ полицейскихъ стѣсненій, считая права личности, если они, по его понятію, безобидны для другихъ, выше всякихъ обязательныхъ постановленій. Такой образъ мыслей приводилъ его не разъ къ конфликту съ властями, только властямъ-то не было интереса возиться съ человекомъ, у котораго не было гроша за душой, а потому всегда ему это сходило съ рукъ благополучно. Вотъ нѣсколько такихъ эпизодовъ.

Карлъ Иванычъ былъ большой охотникъ до купанья. Стыдась своего вѣчно отрепаннаго вида, онъ любилъ купаться на волѣ, въ укромныхъ мѣстахъ. Это однако уже и тогда воспрещалось въ чертѣ города. Однажды будочникъ, поймавъ его на мѣстѣ преступленія гдѣ-то около Крымскаго моста, потребовалъ, чтобы онъ шелъ въ часть для составленія протокола. Конечно, все дѣло было въ двугривенномъ, но Карлъ Иванычъ, если у него и былъ въ это время

двугривенный въ карманѣ, не былъ расположенъ признавать себя виновнымъ. Онъ притворился ничего не понимающимъ по-русски и, глядя въ оба на будочника, твердилъ только: „не понимай!“ На всю брань, на всѣ угрозы, на всѣ намеки относительно мзды, онъ кротко повторялъ: „не понимай!“ Будочнику это въ концѣ концовъ надоѣло, и онъ отсталъ.

Но въ другой разъ Карла Иваныча за купанье все-таки отвели въ часть. Вышелъ квартальный и, видя, что передъ нимъ человекъ бѣдно одѣтый, съ которымъ, значить, нечего стѣсняться, сталъ на него кричать, обращаясь на „ты“, и напиралъ, потрясая кулаками. Карлъ Иванычъ долго крѣпился, потомъ вдругъ, поднявъ самъ кулаки высоко надъ головой, сталъ кричать: „Если я виноватъ, ссылайте мене въ Сибирь, рубите мене галава, — сичасъ! Я качу, чтобы ми не сичасъ рубили галава!“ Квартальный остолбенѣлъ и, подумавши, велѣлъ его отпустить.

Шелъ какъ-то Карлъ Иванычъ на урокъ. Нужно было переходить улицу, вдоль которой съ обѣихъ сторонъ были протянуты веревки въ ожиданіи проѣзда важнаго лица. Будочники сновали взадъ и впередъ. Не спрашиваясь, Карлъ Иванычъ приподнял веревку, перекинулъ ее себѣ черезъ спину и сталъ переходить. Будочники налетѣли: „Эй ты, куда, куда?!“ Карлъ Иванычъ приостановился и, рѣшительно вытянувъ руки впередъ, энергически отчеканилъ: „Прэмо, все прэмо, все прэмо!“ Что же? — Пропустили.

Я не могу не рассказать объ одномъ случаѣ, хотя это и произошло нѣсколько позже разбираемой мною эпохи. Ужъ у меня былъ гувернеръ французъ. Однажды мы вышли съ нимъ гулять. Къ намъ присоединился и Карлъ Иванычъ, дававшій мнѣ передъ этимъ урокъ. Это было въ мартѣ, и стоялъ солнечный, но свѣжій день, при довольно сильномъ вѣтрѣ. Мы проходили Малымъ Каменнымъ мостомъ. Вдругъ сильный порывъ вѣтра сорвалъ у меня съ головы картузъ и унесъ его въ Канаву. Я очень хорошо помню и картузъ: черный бархатный, съ наушниками, на розовой подкладкѣ. Льда въ Канавѣ уже не было, но вода еще не поднялась, и картузъ мой медленно поплылъ по направленію къ Бабьему городку, розовымъ дномъ кверху. Такое чрезвычайное происшествіе не могло не затронуть любознательности

прохожихъ. Очень скоро на мосту образовалась толпа, жадно слѣдившая за всѣми движеніями картуза, который то останавливался на одномъ мѣстѣ, то кружился, то пускался снова въ путь въ зависимости отъ теченія и вѣтра. Мой французъ, сердитый, распекалъ меня за ротозѣйство. Я готовъ былъ плакать отъ стыда и страха передъ предстоявшимъ дома выговоромъ.

А картузъ все плылъ да плылъ. Вотъ ужъ онъ отдалился шаговъ на пятьдесятъ отъ моста. Въ ажитации мы совершенно забыли о старомъ Штетке.

Вдругъ его могучая сутуловатая фигура появилась изъ-за спинъ почтенныхъ зрителей, справа на набережной. Онъ остановился, сбросилъ на землю свой мѣшокъ съ книгами и при помощи своей палки сталъ медленно спускаться по откосу къ тому мѣсту, куда теченіе направляло мой несчастный картузъ.

„Mais il est fou!“ вырвалось у француза.

Тѣмъ временемъ Карлъ Иванычъ смѣло шагнулъ по колѣна въ ледяную воду и сталъ крючкомъ палки подманивать къ себѣ картузъ. Послѣ нѣсколькихъ минутъ такихъ усилій, ему удалось добиться того, что картузъ подплылъ къ нему и былъ имъ торжественно извлеченъ.

„Mais vous êtes fou, complètement fou!“ твердилъ французъ, когда Карлъ Иванычъ принесъ мнѣ картузъ и водворилъ его на моей головѣ.

Старикъ добродушно посмѣивался какъ ни въ чемъ не бывало и на мою восторженную благодарность отвѣчалъ только:

„Es macht nichts. Recht gerne geschehen!“

И стоялъ онъ передо мной съ мокрыми ногами по колѣно, и такъ и ушелъ, не согласившись вернуться, чтобы обсохнуть у насъ дома. И не схватилъ даже насморка!...

Я многое могъ бы поразсказать еще объ этомъ безподобномъ человѣкѣ и рѣдкомъ оригиналѣ, но думаю, что приведеннаго достаточно. Тѣмъ болѣе, что все то, что я могъ бы сообщить, относится къ болѣе позднему времени и едва ли внесло бы что-либо существенное въ характеристику. Я позволю себѣ только вкратцѣ изложить нѣкоторые моменты изъ послѣднихъ лѣтъ его жизни.

Карлу Ивановичу шелъ восьмой десятокъ, и онъ замѣтно старѣлъ и дряхлѣлъ. Конечно, уроковъ платныхъ у него уже почти не было, и поддерживалъ его главнымъ образомъ братъ Миша, его любимый ученикъ, и я. Даваемая ему на руки деньги онъ, по привычкѣ, либо отдавалъ первому встрѣчному, кто попроситъ, либо тратилъ на никому ненужныя грамматики и хрестоматіи и тотчасъ оставался безъ гроша. Поэтому нужно было особенно заботиться о томъ, чтобы онъ былъ сытъ и имѣлъ свой теплый уголь. Это было нелегко. У себя держать его, въ виду все возрастающей нечистоплотности, было совершенно немислимо, а нанимать ему комнату со столомъ становилось все труднѣе и труднѣе: никто не хотѣлъ брать его въ нахлѣбники по причинѣ его беспорядочности и того зловонія, которое онъ всюду съ собой распространялъ.

Брату Мишѣ пришла счастливая мысль списаться съ его родными въ Помераніи. Тамъ оказались еще въ живыхъ двѣ его замужнія сестры, изъ которыхъ Амалія, бездѣтная, жившая съ мужемъ въ городкѣ Dammgarten, съ радостью вызывалась принять къ себѣ въ домъ старика-брата. Карлу Ивановичу это предложеніе было по сердцу. Хотя онъ и очень привыкъ къ Москвѣ и къ намъ, но бремя лѣтъ давало себя чувствовать, и онъ не прочь былъ на склонѣ своихъ дней взглянуть на родину и увидеть себя въ тихой пристани среди родныхъ. Поселяясь у сестры, онъ не вступалъ къ ней въ домъ нищимъ, потому что за нимъ числилось еще отцовское наслѣдство въ размѣрѣ одной тысячи талеровъ. Исторія этого наслѣдства тоже довольно поучительна. О существованіи его всѣ давно знали, но о полученіи его менѣе всѣхъ беспокоился самъ наслѣдникъ. Со стороны напоминали ему о срокахъ давности, предполагая, что таковыя, вѣроятно, существуютъ и въ Пруссіи, и предупреждали, что можетъ быть очень недалеко тотъ день, когда наслѣдство его въ силу закона отойдетъ либо къ другимъ наслѣдникамъ, либо въ казну. Большой патриотъ, онъ начиналъ волноваться, но не столько изъ-за своего наслѣдства, сколько изъ-за мысли, какъ можно допустить, будто въ Пруссіи кто-нибудь посмѣетъ наложить руку на чужую собственность. Мы ему твердили о законѣ, а онъ упрямо стоялъ на своемъ:

„Niemand darf das nehmen, was mir einmal gehört“.

Хотя его прямолинейному пониманію были совершенно чужды юридическія формы, все-таки намъ удалось уговорить его сходить къ прусскому консулу посовѣтоваться. Но и тутъ вышла бѣда: консулъ первымъ дѣломъ пожелалъ познакомиться съ его паспортомъ, который имъ давно уже былъ затерянъ. Добываніе новаго было, разумѣется, сопряжено съ нѣкоторыми хлопотами и съ хожденіемъ по разнымъ канцеляріямъ, чѣмъ меньше всего приходилось по вкусу Карлу Ивановичу. Онъ махнулъ на все рукой, и остался безъ паспорта и — безъ наслѣдства. Прежде, чѣмъ ѣхать за границу вмѣстѣ со старикомъ, братъ мой навелъ справки о наслѣдствѣ на его родинѣ; отвѣтъ пришелъ изъ Бельгарда благопріятный. Оказалось, что наслѣдство цѣло, все еще числится за Карломъ Ивановичемъ, но за полученіемъ его надо явиться лично.

Въ мартѣ 1877 года, я простился навсегда съ моимъ старымъ наставникомъ. О дальнѣйшемъ вотъ какъ повѣствовалъ мой братъ въ письмѣ изъ Дамгартена:

„Довольно равнодушно ѣхалъ Штетке до самой границы, не выражая ни особаго сожалѣнія, что покидаетъ Россію, ни особой радости, что увидитъ родину. Но когда мы пріѣхали въ Эйдкуненъ и ему сказали, что онъ находится на нѣмецкой землѣ, онъ тутъ же на платформѣ опустился на колѣни и сталъ молиться. На глазахъ его сверкали слезы. — Безъ особыхъ приключеній мы добрались чрезъ Данцигъ, по захолустнымъ дорогамъ Помераніи, до его родного городка Бельгарда. Пріѣхали мы туда часовъ въ 5 вечера и остановились въ отелѣ Ottow. Здѣсь ожидалъ меня полный триумфъ моей инициативы во всемъ этомъ дѣлѣ. Многое множество стариковъ обступили Штетке, начались разспросы, рядъ преданій и воспоминаній, и въ концѣ вечера весь Бельгардъ узналъ, что мой Штетке — дѣйствительно Штетке, а не самозванецъ. Бургомистръ и нѣкоторые члены магистрата при этомъ много помогли. Пива выпили пучину и радостно проводили насъ спать. Но самый важный актъ признанія былъ на другой день. Сестра его Каролина встрѣтила насъ прескверно. Она схватила моего старика за руку и искала его кривой палецъ, по которому можно было признать его, затѣмъ крикнула: Ach Gott, er hat ja keine Spur von meinem Bruder! Тогда Карлъ Ивановичъ, покачавъ укориз-

ненно головой, началъ цѣлый рядъ всякихъ воспоминаній, относившихся къ далекому прошлому, когда оба эти старые люди были молоды, веселы и безпечны, вмѣстѣ шалили и дурачились. Каролина безмолвно слушала, вперивъ въ него свои глаза. Вдругъ слезы заструились по ея лицу. Всклипывая, она обратилась къ бургомистру: „Doch... Doch... Herr Bürgermeister, es kann kein anderer sein, als mein Bruder Karl!“ Пошли нѣжности, цѣлованія, mein Karlchen и т. д. Того же дня судъ призналъ претендента и обѣщаль выхлопотать деньги черезъ мѣсяцъ. Цѣлый, кажется, городъ провожалъ насъ, когда мы уѣзжали. Сюда, въ Dammgarten, мы пріѣхали вчера и были приняты à bras ouverts. Штетке дали отличную комнату внизу, а мнѣ вверху. Старики Клейнъ — очень милые люди. Радость ихъ при свиданіи меня совсѣмъ наградила за мои хлопоты. Не разъ повторяли они мнѣ, что безъ всякаго наслѣдства будутъ счастливы съ нашимъ старичкомъ. Эта нѣмецкая парочка — совершенные Аѳанасій Ивановичъ и Пульхерія Ивановна. Домикъ премиленькій, чистота необыкновенная, радушіе тоже. Меня чуть не на рукахъ носятъ, что иногда даже совѣстно бываетъ. Дамгартенъ самъ по себѣ un petit trou, но лѣтомъ, полагаю, тутъ живописно. Къ сожалѣнію, погода ужасная, снѣгъ, вѣтеръ, холодъ, но въ домѣ очень тепло. Обѣдаемъ мы съ изряднымъ Bordeaux: у старика Клейнъ — всего запасы. Онъ благоговѣнно вытаскивалъ намъ этотъ какой-то Château... Амалия — чудесная. Есть еще собачка и старая, престарая канарейка, которая болѣе чихаетъ, нежели поетъ. Прислужница говорить на какомъ-то ужасномъ діалектѣ, но это не мѣшаетъ намъ любить другъ друга и, разумѣется, понимать. Имѣется садикъ чуть-чуть побольше моей ладони; изъ моего окна вижу границу Мекленбурга и городъ Ribnitz вдаль“.

Dammgarten былъ послѣдней станціей на жизненномъ пути Карла Ивановича. Мы посылали ему письма изъ Россіи, но онъ должно быть одряхлѣлъ настолько, что не отвѣчалъ намъ. За него отписывалась изрѣдка сестра его Амалия. Въ январѣ 1884 года она увѣдомила насъ объ его кончинѣ:

„Er ist sanft eingeschlafen“, писала она. Миръ его праху на далекомъ кладбищѣ! Теперь, когда его давно не стало, забылось все то, что въ немъ было

страннаго, а вспоминается лишь кристальная чистота этой простой и бесконечно доброй души. Память о немъ должна жить въ исторіи нашей семьи. Не онъ ли, безхитростный и мало образованный человѣкъ, внесъ въ нашу среду, какъ умѣлъ, проповѣдь гуманности, справедливости и милосердія? Не съ нимъ ли, сидя у него на колѣняхъ, я распѣваль золотыя слова о любви къ людямъ:

«Sie ist des Lebens schönster Band,
Schlägt, Brüder, traulich Hand in Hand!»

и твердилъ одно изъ любимыхъ его изреченій:

«Besser machen, besser werden,
Das ist uns're Pflicht auf Erden».

Безспорно, это была цѣльная, идеалистическая, благо-родная натура, которая всю свою нелегкую жизнь прожила въ глубокомъ убѣжденіи и съ этимъ убѣжденіемъ отлетѣла въ вѣчность, что всѣ люди — братья и что нашъ общій долгъ — по-братски жить и любить другъ друга:

«Wir sind nicht mehr, nicht minder,
Sind alle Gottes Kinder,
Und sollen uns wie Brüder freu'n»!

XXI.

Переписка братьевъ съ моей матерью съ Нижегородской ярмарки
отъ 1848 по 1853. годъ.

На ярмарку ѣздили всегда оба старшіе брата, а при нихъ одинъ или двое изъ младшихъ. По обыкновенію, во время пребыванія своего въ Нижнемъ, всѣ считали долгомъ переписываться съ моей матерью. Корреспонденція эта сохранилась. Хотя она въ главной своей массѣ состоитъ изъ повторенія шаблонныхъ мѣстъ: изъявленій преданности и любви, поздравленій съ праздниками церковными и семейными, замѣтокъ о погодѣ, краткихъ свѣдѣній объ успѣшности или неуспѣшности торговли, однако въ ней встрѣчаются и индивидуальныя черты болѣе цѣнныя. Но прежде чѣмъ обратиться къ нимъ, слѣдуетъ отмѣтить одинъ фактъ отрицательнаго характера: сыновья почти не вспоминаютъ объ отцѣ; нѣтъ этого даже въ письмахъ перваго года по кончинѣ

отца, писанныхъ всего семь мѣсяцевъ спустя послѣ этого важнаго семейнаго событія. Хотя это и можно отчасти объяснить деликатнымъ нежеланіемъ тревожить мою мать воспоминаніемъ о недавней тяжелой утратѣ, однако какъ-то трудно мириться съ этимъ, зная, что отецъ былъ всегдашнимъ спутникомъ сыновей и что все на ярмаркѣ, начиная съ общаго обихода и кончая всякой мелочью въ лавкѣ, должно бы было ежеминутно напоминать о немъ. Но этого мало. Сыновья какъ-будто даже плохо понимали всю глубину горя моей матери, потерявшей мужа, съ которымъ она въ мирѣ и согласіи прожила четверть вѣка, — горя, которое ее чрезвычайно угнетало, особенно на первыхъ порахъ. Такъ Иванъ пишетъ ей: „Вы изволите писать, что Вы сильно чувствуете горькой потери и разстроенный духъ отъ разныхъ неудовольствій Вашей несчастной жизни и будто Вамъ суждено до гроба страдать. Жаль, почему это и отчего могло случиться. Ежели Николенькина нянька умерла, то это власть Божія. Полагаю, что можетъ и Вѣра замѣнить ея мѣсто, а болѣе не знаю полагать причины, и почему же такъ отчаиваться? Безъ непріятностей всегда было и есть трудно прожить человѣку, но не такъ же горевать, какъ Вы. Впрочемъ, я это еще не полагаю несчастною жизнь. Желалъ бы знать и ежели можно помочь Вашему горю“ (1848 г.). Такова его близорукость; онъ забываетъ совершенно два великихъ бѣдствія моей матери: смерть отца и полную глухоту, и ищетъ причины горя — въ смерти няни, человѣка случайнаго, не оставившаго никакого слѣда въ нашемъ семействѣ.

Разбирать письма по отдѣльнымъ годамъ нѣтъ никакого интереса. Лучше обратить вниманіе на то, что въ нихъ есть характернаго за этотъ шестилѣтній промежутокъ.

Иванъ пишетъ расплывчато, имѣетъ большую склонность къ фигурной рѣчи, выражается неточно и иногда до комизма аляповато. При всемъ томъ онъ однако несомнѣнно сердечный и искренній человѣкъ. Его интересуютъ чрезвычайно великіе міра сего, и всякое даже ничтожное свѣдѣніе объ нихъ онъ передаетъ съ благоговѣніемъ. Специальность его — шутки по адресу Карла Ивановича. Въ 1848 году у насъ въ домѣ красили полы. По этому поводу онъ пишетъ: „Полы отдѣлають вездѣ, а Карле Франсе опять зага-

дять, какъ свинья въ грязи, и будетъ рыться въ своихъ книгахъ". — Однажды на крестномъ ходу въ Нижнемъ не было архіерея. Это даетъ поводъ Ивану къ слѣдующимъ строкамъ: „А у насъ праздниѣ прп. Макарія и крестный ходъ въ память избавленія (отъ) холеры третьяго года кругомъ всей ярмарки при многочисленномъ стеченіи народа, но архіерея жалко нѣтъ. Нашъ старецъ *первосвященнѣйшій* Яковъ по Высочайшему повелѣнію былъ назначенъ присутствовать въ Петербургѣ въ Синодѣ, тамъ немного пожилъ и скончался недавно, а новаго еще нѣтъ". Двѣ недѣли спустя Ивану дали архіерея. „Здѣсь былъ крестный ходъ и новый преосвященный изъ Владиміра на время, такой солидный". Очень распространяться на эту тему было некогда, ибо „пришелъ покупатель, долженъ съ нимъ заяться" (1850 г.).

Въ слѣдующемъ году Иванъ сообщаетъ свѣдѣніе, не лишнее юмора въ его передачѣ: „слышно, что 22 августа у васъ большая церемонія, и графъ (Закревскій) на всѣхъ (!) воротахъ обязанъ (!) сдѣлать щиты". 22-го августа было празднованіе коронаціи.

Въ 1852 г. относительно крестнаго хода Иванъ оповѣщаетъ, что архіерей „Іеремій" не былъ самъ, а первенствовалъ архимандритъ Паисій, ректоръ семинаріи. Имена: Іеремій и Паисій начертаны сполна прописными буквами въ знакъ уваженія. „И меня Богъ удостоилъ нести икону чудотворную Нерукотвореннаго Спаса". Оказывается, что архіерей „тѣснить ужасно вонъ (?) игуменью Вѣру. У насъ она была въ домѣ съ брилліантовымъ крестомъ, — я думаю, Вы помните". Слѣдуетъ прибавка во вкусъ Ивана: „погода здѣсь теплая, ясная, самая прекрасная".

Мать моя ѣздила въ Кунцево на дачу, гдѣ поселились Борисовы вмѣстѣ съ „Лизочкой", молодой женой Сергѣя, который самъ былъ на ярмаркѣ. Это — первое упоминаніе объ этой дачной мѣстности, которая впоследствии долгое время служила любимымъ мѣстопребываніемъ различнымъ членамъ нашего семейства. Кунцево понравилось моей матери, и въ письмѣ къ Ивану она это высказала. Похвалы эти возбудили нѣкоторую ревность въ Иванѣ, такъ какъ его собственная семья жила въ Сокольникахъ. „Вы изволите писать о Кунцевѣ", отвѣчаетъ онъ. „Тамъ очень хорошо, дѣйствительно

мѣста есть дивныя. И въ Сокольникахъ вѣдь очень хорошо, есть немного шумно, но не вездѣ: въ нашей сторонѣ очень тихо и скромно, и мѣста есть прекрасныя, и прошу Васъ покорнѣйше не оставьте съѣздить въ Сокольники и навѣстить Сашу, чѣмъ много меня одолжите" (1852 г.).

Письма Семена, кромѣ общепринятыхъ формулъ преданности, одинаковыхъ у всѣхъ, отличаются сухостью и дѣловитостью. Онъ не любитъ тратить словъ попустому. Въ его тонѣ чувствуется власть и сила, и это для него гораздо существеннѣе ороеграфіи и стилистики.

Въ 1848 г. въ Нижнемъ опасались холеры. Она тамъ и была, хотя не въ сильной степени. Какъ предохранительное средство братья принимали мятные капли. Семень увѣдомляетъ: „Смертность отъ холеры здѣсь очень рѣдка". И тотчасъ затѣмъ: „Прикажите Карлу Ивановичу, чтобы онъ нечистоту не заводилъ опять". Въ другомъ письмѣ: „Мостовая у Вашего дома совсѣмъ недурна: ее бы можно погодить поправлять. При мнѣ бы поэкономнѣ сдѣлали".

Раньше было указано, какая забота была моей матери съ придумываньемъ „гостинцевъ", кому что подарить съ ярмарки. Теперь она задумала сложить съ себя эту обязанность и какъ-то заикнулась Семену о желательности замѣны гостинцевъ деньгами. На это Семень, охранитель традиціи, отвѣтствуетъ: „Ежели людей одарить деньгами, то это уже не будетъ гостинецъ, а потому, если найду что купить, то куплю для нихъ" (1849 г.). — При случаѣ онъ непрочь сдѣлать и косвенный выговоръ. „Я писалъ Оленькѣ выслать салфетокъ намъ. Надѣюсь, Вы приказали выдать. Отпустили сюда только 6, а насъ 6 человекъ; иногда лишніе бываютъ — стыдно подать, да и самимъ непріятно: очень черны" (1852 г.). Не проще ли было купить въ Нижнемъ полдюжины лишнихъ салфетокъ?

Въ слѣдующемъ году Ольга Семеновна жила съ Грачевыми на дачѣ въ Сокольникахъ. Семень проситъ мою мать „навѣщать нашихъ" (1850 г.).

Свои мысли педагогическаго характера Семень высказываетъ такъ: „Мы очень довольны Мишей. Я съ своей стороны всегда былъ и буду имъ добрый братъ, хотя иногда и строгъ. Ежели теперь не нравлюсь иногда, то, надѣюсь,

будутъ со временемъ вспоминать и благодарить. Что нехорошо, всегда скажу и остановлю: это мой долгъ и обязанность“ (1851 г.). „Миша здоровъ, дѣломъ занимается, и мы довольны, а что не такъ, то останавливаемъ“ (1852 г.). Какъ видно, Семенъ былъ проникнутъ мыслью, что корень ученія *долженъ быть* горекъ до известной степени для того, чтобы плоды онаго были сладки. Ошибочность этого взгляда лучше всего сказала на послѣдующихъ отношеніяхъ къ нему его племянца. Частое упоминаніе о Мишѣ, между прочимъ, можетъ указывать и на то, что на „останавливанье“ старшаго брата уже было обращено должное вниманіе моей матерью, вѣроятно, въ формѣ протеста противъ физическихъ воздѣйствій.

Наибольшее оживленіе въ свою переписку вносилъ братъ Сергѣй. Несмотря на крайне ограниченный кругозоръ, распылчатость, недостаточную грамотность и отсутствіе умѣнья излагать свои мысли, у него одного въ этотъ періодъ встрѣчаются проблески чего-то, похожаго на самостоятельный и свободный разговоръ съ близкимъ человѣкомъ. То, что онъ сообщаетъ, по большей части, ничтожно, но оно его занимаетъ, и онъ не стѣсняется объ этомъ говорить, какъ умѣетъ. Это придаетъ его письмамъ искренность, весьма цѣнную для его собственной характеристики. Онъ во многомъ напоминаетъ Ивана: очень богомоленъ, любитъ „пошутить“, но у него сказываются и индивидуальныя черты: любовь къ музыкѣ, къ зрѣлищамъ, къ чему-нибудь невиданному и рѣдкому, къ лошадямъ и животнымъ вообще.

Два старшихъ брата отличались полнымъ равнодушіемъ ко всѣмъ искусствамъ; въ противоположность имъ мы четверо, дѣти одной матери, всѣ до одного очень любили музыку. Каждый изъ насъ культивировалъ это чувство по-своему, но всѣ мы искали музыкальных наслажденій и тосковали, когда были ихъ лишены по той или другой причинѣ. У брата Сергѣя при отличномъ слухѣ были недурныя музыкальныя способности. Онъ бралъ уроки на скрипкѣ и, какъ видно, возилъ ее съ собой и въ Нижній, чтобъ тамъ упражняться. „Моя привязанность къ скрипкѣ бываетъ только въ свободное время, а прочее всегда употребляется въ занятіи по торговлѣ; также бываетъ это и въ Москвѣ“, писалъ онъ въ 1850 году.

За исключеніемъ музыки Сергѣй былъ чуждъ всѣмъ интеллектуальнымъ развлечениямъ. Какъ ни странно, но онъ не любилъ даже концертовъ скрипачей; къ театру, а также къ чтенію, кромѣ молитвенниковъ и акаѳистовъ, былъ совершенно равнодушенъ. Типично для него было, что до конца его дней любимымъ его развлеченіемъ были — циркъ и балаганъ. Этотъ вкусъ уже вполне опредѣлился и тогда. Приведутъ ли слона „изъ Бухаріи“, привезутъ ли великана въ 3 аршина, онъ съ удовольствіемъ сообщаетъ объ этомъ съ подробностями: ему известно, что слона отправили на пароходѣ въ подарокъ Царю, а у великана есть сестра въ $3\frac{1}{4}$ аршина, показывающаяся въ Петербургѣ. „Отъ скуки я иногда отправляюсь къ Раппо (въ циркъ) или обезьянъ смотрѣть“ (1853 г.). „Николу за меня поцѣлуйте и скажите ему, что я купилъ здѣсь для него маленькую лошадку, которую онъ видѣлъ у насъ на дворѣ съ обезьяной“ (1850 г.). Однако лошадка, которая была у насъ на дворѣ, была, конечно, не деревянная.

О свойствѣ набожности Сергѣя даетъ понятіе слѣдующее мѣсто: „Вчерашній день былъ у насъ вокругъ ярмарки крестный ходъ послѣ поздней обѣдни, а сегодня былъ у насъ въ лавкѣ молебень съ водосвятиемъ и были иконы: 1) Спасителя, 2) Пресвятыя Богородицы, 3) Николай Чудотворецъ и 4) Преподобный Макарій, которыя иконы мы сами принесли изъ ярмарочнаго собора“. Такимъ образомъ, онъ не только молится святымъ, но перечисляетъ даже иконы, какъ перечисляютъ поименно высокопоставленныхъ лицъ на торжествахъ (1848 г.).

Нѣкоторыя письма Сергѣя проявляютъ своеобразную шутливость. „По Нижегородскому тракту дѣса горятъ довольно (?) отъ этихъ жаровъ, которые теперь даже (?) у насъ (въ) Нижнемъ. Намъ здѣсь только и надоѣдаютъ жары да еще мухи, которыхъ здѣсь тьма, и такъ онѣ глупы, *гораздо глупѣе нашихъ московскихъ!*“ Подъ конецъ помѣта: „19-ое августа 1850 года, городъ — *забылъ*“. Однажды онъ доходитъ почти до якобинства: „На сихъ дняхъ прибыла сюда великая княгиня Анна Герасимовна Алексѣева, которая не удостоила насъ своимъ посѣщеніемъ“. По тѣмъ временамъ было очень смѣло такъ выражаться про особу, которую не только всѣ уважали, но которая сама себя больше всѣхъ уважала. Выра-

жаясь такъ, Сергѣй, очевидно, рассчитывалъ на сочувствіе читательницы.

Нѣкоторые мѣста писемъ Сергѣя рисуютъ ярмарочную жизнь. „Миша здѣсь довольно веселъ и, какъ замѣтно, не скучаетъ; онъ только немножко насъ и забавляетъ“. „Сегодня мы отправляемся въ комедію вмѣстѣ съ Мишей: вѣдь надобно сводить, а то обидится“. „Мы съ Мишей теперь скучаемъ, а Иванъ Петровичъ развлекаетъ, поетъ разныя пѣсни, какъ-то: „свѣчи салны, свѣтильни бумажны, горять ясно, оченно прекрасно“. Ходить — и поетъ: вотъ тутъ-то у насъ съ Мишей и развлеченіе“ (1851 г.). Жалобы на скуку повторяются у Сергѣя очень часто, особенно послѣ женитьбы: онъ постоянно вспоминаетъ о своей „Лизочкѣ“. „Въ 8 часовъ заберемъ лавку¹⁾ и отправляемся всѣ кверху, въ палатку, и тутъ черезъ часъ ужинать и спать. Развѣ иногда отправишься въ здѣшній театръ, и тогда бываетъ очень трудно, потому что представленіе кончается во второмъ часу, а мы обыкновенно здѣсь встаемъ въ седьмомъ часу утра. Сегодня здѣсь въ театрѣ представленіе въ пользу здѣшнихъ дѣтскихъ пріютовъ, и цѣна мѣстамъ ужасная: по 15 руб. сер. за кресло. Мы принуждены были взять одно кресло, потому что отъ самого губернатора намъ прислали билетъ въ театръ и билетъ къ нему на обѣдъ по случаю дня коронаціи. На обѣдѣ не былъ никто, а въ театръ отправился Семенъ Петровичъ“. „На нашихъ бульварахъ ужасно было много публики по случаю этого торжества, т.-е. коронаціи, и хорошей погоды. Эти бульвары находятся напротивъ нашихъ рядовъ до самаго губернаторскаго дома. Они недавно сдѣланы, я думаю, года два“. „Становится уже скучно, видя, какъ наши московскіе летають мимо насъ въ своихъ тарантасахъ, спѣша домой. А мы, какъ-будто грѣшныя (!), должны выѣхать отсюда не ближе какъ 1-го сентября. Мы нигдѣ не бываемъ кромѣ своей лавки“ (1852 г.).

Изъ писемъ Сергѣя видна особая дружба его къ Мишѣ. Она долго удержалась и впослѣдствіи. Наталкиваемся на весьма опредѣленно выраженную неприязнь — къ Семену. Это — только одинъ разъ, но стоить десяти. Вотъ что на-

¹⁾ Техническое выраженіе: „забрать лавку“ значитъ прибрать въ ней все на мѣсто и залпереть ее.

ходится въ письмѣ Сергѣя къ матери въ 1853 году: „Ужъ третьяго повара мѣняютъ по хорошему распоряженію нашего братца Семена Петровича... Этотъ хочетъ *тушлымъ* кормить, и потому я, не желая испортить своего желудка, рѣшилсѣ ходить одинъ въ трактиръ“. Нужно только представить себѣ патриархальную обстановку того времени, чтобъ оцѣнить по достоинству такой протестъ. Какъ? Старшій братъ, глава и заправила всего, садится за столъ вмѣстѣ съ другими братьями, а одинъ изъ нихъ говоритъ: я не могу ѣсть того, что вы ѣдите, и ухожу?! Да вѣдь это цѣлая революція!...

Меньше всего писемъ съ ярмарки отъ брата Володи. Онъ и ѣздилъ-то на ярмарку только одинъ разъ: тотчасъ послѣ кончины отца въ 1848 году. Онъ увѣдомляетъ, что изъ Москвы до Нижняго ѣхали очень скоро: 42 часа, считая остановки для перемѣны лошадей, обѣда и чаепитія. „Для безопасности“ онъ принималъ въ дорогѣ раза три мятные капли отъ холеры. Онъ выражается недурно, и ореографія у него почти совершенно правильная, хотя встрѣчаются ошибки, которыя у него потомъ сохранились на всю жизнь. Такъ онъ всегда писалъ и говорилъ: *ндравится*; писалъ: *ручьки*; ради оригинальности писалъ французское *N* вмѣсто русскаго *Н*. и т. д. Причина, почему онъ не ѣздилъ на ярмарку, заключалась въ томъ, что еще до достиженія имъ совершеннолѣтія, старшіе братья посадили его торговать *на отчетъ* въ особую лавку. Володя любилъ жизнь и веселье: это было такъ естественно въ 20 лѣтъ. Завелись друзья-пріятели. Въ результатѣ получилось то, что всегда получается, когда хозяинъ больше веселится, чѣмъ смотритъ за своимъ добромъ: друзья-пріятели помогли пріятно провести время, а приказчики растащили лавку. Къ тому же Володя и по природѣ былъ очень мягкосердеченъ и добръ. Когда пришло время отдавать отчетъ, оказалось, что Володя про-торговалъ на свою шею тысячъ сорокъ. Вслѣдствіе этого и часть, полученная имъ впослѣдствіи изъ отцовскаго наслѣдія, значительно умалилась противъ доли другихъ.

Изъ того положенія, которое занималъ въ ранней молодости Миша по отношенію къ другимъ братьямъ, и той инициативы, которой онъ отличался, слѣдовало бы ожидать

отъ него интересныхъ писемъ съ ярмарки, на которой онъ перебивалъ три года подъ рядъ съ 1851 по 1853 годъ. Между тѣмъ письма его безцвѣтны и не даютъ никакого представления о будущемъ фронтѣ противъ всякаго семейнаго деспотизма.

Онъ недоволенъ своимъ первымъ приѣздомъ: въ Москвѣ ждали Государя, котораго ему не придется увидеть. „Вотъ я никогда не ѣздили въ Макарью“, пишетъ онъ, „а въ этотъ годъ, какъ насмѣхъ, надо было ѣхать“ (1851 г.). Семенъ увѣдомляетъ, что по вечерамъ „гуляетъ съ Мишей по ярмаркѣ и знакомить его съ мѣстами“. Изъ писемъ Сергѣя мы видѣли, что природная веселость младшаго брата развлекала ихъ однообразную жизнь. Уже въ это время почеркъ Миши окончательно сформировался и остался неизмѣннымъ на всю жизнь. Онъ пишетъ почти безъ ошибокъ, складно; видны умъ и наблюдательность. Онъ вспоминаетъ и обо мнѣ, быть-можетъ, чаще другихъ братьевъ. „Николу поцѣлуйте и скажите ему, чтобъ учился прилежнѣе у Карла Ивановича, которому передайте тоже мое почтеніе“. Въ одномъ изъ писемъ онъ выражаетъ надежду, что по возвращеніи съ ярмарки будетъ говорить со мною по-нѣмецки (1852 г.). Отношенія его къ Карлу Ивановичу особенно теплыя: „Карлу Ивановичу — особое почтеніе: я его люблю“. Послѣднія слова имъ подчеркиваются. Но въ общемъ въ письмахъ много балласта: условныхъ выраженій преданности, поздравленій, увѣдомленій о погодѣ и молебнахъ, — все это казенно и скучно. Есть стереотипная фраза, встрѣчающаяся въ его письмахъ къ матери постоянно: „я радъ, что Вы, слава Богу, находитесь въ добромъ здоровьѣ, о чемъ постоянно молю Бога“. Онъ бываетъ и въ театрѣ, но ничего не говорить о вынесенныхъ впечатлѣніяхъ, и часто жалуется на скуку. Конечно, въ дѣловой ярмарочной жизни было мало разнообразія, однако видно, что торговая дѣятельность вообще ему чужда и непріятна; въ близкомъ будущемъ ему улыбнутся другія перспективы, и онъ ихъ уже предчувствуетъ.

Въ ноябрѣ 1853 года Володя и Миша ѣздили въ Петербургъ. О планахъ Миши даетъ понятіе слѣдующее мѣсто изъ письма къ матери: „Петербургъ — городъ вполне прекрасный, и сравнивать съ Москвою даже невозможно. Большая

разница!... Въ генварѣ мѣсяцѣ надѣюсь совершенно жить здѣсь, потому что обѣщаютъ прекрасное мѣсто въ статской службѣ. Нужно только приготовиться 6 мѣсяцевъ къ этому, что я и исполню здѣсь въ Петербургѣ съ генваря мѣсяца“.

XXII.

Передъ раздѣломъ.

Изъ всего предыдущаго можно было видѣть, что семейство наше едва ли могло долго вести совмѣстную жизнь и непременно должно было распасться. Причинъ было нѣсколько и онѣ сводились къ слѣдующему.

При жизни отца женатымъ былъ только одинъ старшій его сынъ, а въ шестилѣтній промежутокъ послѣ его кончины успѣли уже пожениться еще двое его сыновей. Конечно, у женатыхъ усиливалось и стремленіе къ обособленности и самостоятельности; они уже не желали подчиняться общимъ порядкамъ, а помышляли о своихъ собственныхъ, болѣе подходящихъ къ ихъ личнымъ потребностямъ и вкусамъ. Этому сепаратизму благопріятствовали и внѣшнія условія: старый отцовскій домъ становился тѣснѣе, помѣщенія не хватало, приходилось поневолѣ выселяться. Братъ Сергѣй тотчасъ послѣ свадьбы переѣхалъ въ домъ моей матери. Уже этимъ самымъ воля отца, требовавшая, чтобы всѣ члены семьи не разѣзжались ранѣе шестилѣтняго срока, была фактически нарушена. Но и помимо этого важнаго обстоятельства вкусы и характеры отдѣльныхъ членовъ семьи опредѣлялись очень разнообразно. Въ то время, какъ оба старшіе брата оставались торговыми людьми въ старинномъ купеческомъ духѣ, младшіе братья не проявляли никакого влеченія къ торговому дѣлу потому ли, что ихъ не сумѣли пріохотить, или потому, что у нихъ къ этому не было призванія. Ихъ могъ расхолодить и недавній неудачный примѣръ на глазахъ: одинъ изъ нихъ пробовалъ вести свое собственное дѣло, и только проторговалъ значительную часть причитавшейся ему доли наслѣдства. Слѣдуетъ принять къ свѣдѣнію и то, что, благодаря сношеніямъ съ Петербургомъ, въ наше семейство стали проникать извнѣ новыя вѣянія, болѣе интересныя и

привлекательныя. Какъ бы то ни было, къ концу шестилѣтняго періода стало яснымъ, что младшіе братья относятся отрицательно къ торговой дѣятельности и ждутъ съ нетерпѣніемъ того дня, когда, въ силу завѣщанія отца, станетъ возможнымъ приступить къ раздѣлу наслѣдства. Наконецъ, и личныя отношенія между старшимъ и младшимъ поколѣніями дѣлалась все болѣе и болѣе натянутыми. Старшій въ родѣ братъ не вмѣшивался въ общія дѣла; фактическимъ хозяиномъ всего былъ одинъ Семень, отъ котораго лично исходили всѣ главныя мѣропріятія по домоводству и по воспитанію троихъ младшихъ братьевъ. Но именно отношенія Семена къ нимъ сложились нежелательнымъ образомъ. Какъ человекъ стараго закала, самъ выросшій подъ суровой ферулой, онъ полагалъ, что всякое воспитаніе должно быть суровымъ, чтобъ не „избаловать“: этого пуще всего боялись въ старину. Въ своихъ письмахъ Семень неоднократно отстаиваетъ свою точку зрѣнія, утверждая, что хотя онъ и строгъ съ братьями, но желаетъ имъ лишь добра и надѣется, что они со временемъ оцѣнятъ его заботы. Но младшіе братья не признавали его заботливости, а напротивъ, обвиняли его въ черезчуръ самовластномъ и даже жестокомъ обращеніи и только о томъ и помышляли, чтобы скорѣе отъ него отдѣлаться. Само собою разумѣется, на ихъ сторонѣ была ихъ родная мать. Семень не могъ не замѣчать тѣхъ чувствъ, которыя внушаетъ, но, не сознавая несостоятельности своихъ педагогическихъ пріемовъ, съ своей точки зрѣнія обвинялъ молодежь въ неблагодарности. Въ результатѣ должно было съ обѣихъ сторонъ явиться желаніе развязаться, отдѣлаться другъ отъ друга, чтобы каждый шелъ своей дорогой, не задѣвая другого. Вотъ какъ въ старомъ гнѣздѣ моего отца постепенно народился расколъ, изъ котораго не было другого выхода, какъ раздѣлъ имущества.

Однако, если со стороны младшаго поколѣнія еще задолго до срока, установленнаго завѣщаніемъ, полный раздѣлъ былъ признанъ безусловно желательнымъ, не таково было мнѣніе старшихъ братьевъ. Они намѣревались продолжать торговое дѣло отца, и дробленіе общаго капитала было для нихъ невыгодно. Вотъ почему они сдѣлали попытку избѣжать раздѣла.

XXIII.

Проекты раздѣла.

Наступилъ 1853-ій годъ, съ которымъ вмѣстѣ долженъ былъ окончиться шестилѣтній срокъ, опредѣленный моимъ отцомъ для совмѣстной жизни семьи. Надо было подумать объ ея дальнѣйшей судьбѣ.

Относящіеся сюда документы въ семейномъ отношеніи интересны. Моей матери были представлены послѣдовательно три записки, всѣ писанныя рукою Ивана Петровича. Онѣ тщательно обдуманы, и не можетъ быть сомнѣнія, что Ивану Петровичу было поручено только переписать ихъ набѣло, такъ какъ у него былъ недурной почеркъ, но что въ редакціи ихъ участвовали болѣе свѣдущіе люди, можетъ быть, даже юристы.

Первая записка помѣчена 10 іюля 1853 года. Указавъ на главное положеніе духовнаго завѣщанія отца, коимъ воспрещается приступать къ раздѣлу имущества ранѣе шестилѣтняго срока, записка напоминаетъ, что срокъ этотъ истекаетъ въ декабрѣ текущаго года. Братья Сергѣй, Владиміръ и Михайлъ уже выразили желаніе выйти изъ дѣла и получить причитающуюся имъ часть наслѣдства. Въ виду этого желательно знать мнѣніе моей матери. Оно имѣетъ тѣмъ большее значеніе, что ей приходится давать отвѣтъ и за себя, и за младшаго сына, девятилѣтняго ребенка, такъ какъ она состоитъ его опекуной. Записка упоминаетъ отъ имени Ивана Петровича о долгѣ его, какъ душеприказчика послѣ отца, заранѣе позаботиться о нужныхъ для раздѣла мѣрахъ, если раздѣлъ будетъ рѣшенъ. Онъ проситъ мою мать высказаться поскорѣе, до отъѣзда его на Макарьевскую ярмарку, чтобъ успѣть привести общее имѣніе въ наличную извѣстность.

Таковъ первый проектъ; ему противопоставляется другой. Въ томъ случаѣ, если бы моей матери было угодно, не приступая къ раздѣлу, оставить все имущество въ общемъ владѣніи, старшіе братья Иванъ и Семень предлагаютъ взять на себя управленіе подъ своею отвѣтственностью. Такъ какъ младшіе братья не желаютъ принимать личнаго участія въ торговлѣ, то старшіе вызываются одни продол-

жать торговля дѣла отцовской фирмы. Во всякомъ случаѣ, потребуется точное опредѣленіе, какая часть имущества причитается на долю каждаго. На капиталъ тѣхъ наслѣдниковъ, которые въ торговлѣ участвовать лично не намѣрены, старшіе братья предлагаютъ платить по 6⁰/₁₀₀ годовыхъ съ рубля; взаменъ этого эти наслѣдники уже не принимаютъ никакого участія въ барышахъ и не несутъ никакой отвѣтственности за убытки фирмы (см. Приложение II).

Само собою разумѣется, что для старшихъ братьевъ было желательнѣе, чтобы капиталъ торговой фирмы не дробился, а потому они сильно склонялись къ этому проекту, который и мотивированъ и разобранъ подробнѣе проекта раздѣла. „Подобный образъ дѣйствій“, гласитъ записка, „не раздробляя общаго нашего имѣнія, не дѣлая его всенародно извѣстнымъ, не требуя ни опеки надъ Николенькой, ни попечительства надъ Мишей и не раздѣляя членовъ семейства, упрочить участь всѣхъ наслѣдниковъ, а въ особенности тѣхъ нашихъ братьевъ, которые не желаютъ заниматься торговлей, и вполне согласенъ будетъ съ волей покойнаго завѣщателя“. „Но какое бы рѣшеніе по сему дѣлу ни поступило“, кончаетъ записка, „во всякомъ случаѣ, слѣдуетъ намъ сдѣлать сіе безъ неудовольствій, безъ судебного разбирательства, а въ любви и согласіи, какъ подобаетъ единодушнымъ членамъ уважаемаго семейства, чѣмъ исполнимъ священный долгъ, повелѣвающій намъ единодушіемъ всего нашего семейства почтить память благодѣтельствовавшаго насъ покойнаго нашего родителя, а Вашего супруга“.

Подъ запиской помѣщено нѣсколько строкъ, приписанныхъ Владиміромъ Семеновичемъ Алексѣевымъ, другимъ душеприказчикомъ отца. Онъ выражаетъ одобреніе второму проекту и рекомендуетъ его принятіе. „Это будетъ благодѣяніемъ для молодыхъ людей“, пишетъ онъ, „и исполнится желаніе покойнаго Вашего супруга, и вмѣстѣ съ тѣмъ *соблюдется общій капиталъ въ цѣлости*“. Эта приписка является особенно яркимъ свидѣтельствомъ того, что старшіе братья всѣ мѣры употребляли, чтобы убѣдить мою мать въ желательности сохранить имущество нераздѣльнымъ.

Положеніе моей матери было нелегкое. Глухота, ставившая ее въ полную изолированность, дѣлала ее безпомощной. Отъ нея требовали рѣшающаго голоса по вопросу, отъ ко-

торого зависѣла будущность ея и ея дѣтей, а для нея было невозможно наводить какія-нибудь справки у незаинтересованныхъ свѣдущихъ людей. Однако можно было предвидѣть, что второй проектъ не встрѣтитъ въ ней сочувствія. Въ этомъ направленіи должны были вліять на нее собственные сыновья, которые не желали оставлять свои средства въ распоряженіи старшихъ. Юридическую сторону проекта могъ разъяснить моей матери чрезъ брата Сергѣя его тесть, чиновникъ; кромѣ того, какъ я говорилъ раньше, въ подобныхъ случаяхъ мать моя нерѣдко прибѣгала къ совѣтамъ сестры своей Марьи Сергѣевны Коншиной, у которой со стороны мужа былъ родственникъ страпчій.

Какъ бы то ни было, но и вліятельное слово Алексѣева, стараго друга моего отца, не помогло: мать моя отклонила второй проектъ.

Я полагаю, она поступила такъ, какъ слѣдовало поступить осторожной и умной женщиной. Нисколько не сомнѣваясь въ добросовѣстности старшаго поколѣнія и оставаясь въ сторонѣ заманчивость полученія высокаго процента на капиталъ, я нахожу, что проектъ былъ неудовлетворителенъ по существу. Оставаясь фактическими распорядителями общаго имущества, старшіе не предоставляли младшимъ никакой гарантіи въ неприкосновенности ихъ доли имущества. Пойди плохо дѣла, случись заминка, и тогда мы, младшіе, становились безповоротно нищими. Обыкновенно въ такихъ случаяхъ менѣе другихъ страдаютъ заправилы, которые, зная близко положеніе дѣлъ, всегда умѣютъ во-время гарантировать свои интересы такъ или иначе, но, даже и не предполагая этого, спрашивается, какое плохое утѣшеніе было бы намъ, младшимъ, сознавать, что неудачныя дѣла старшихъ разорили все семейство одинаково?!... Какой-то „семейный актъ“, о которомъ вскользь упомянуто въ запискѣ, едва ли могъ представлять прочную гарантію нашихъ правъ.

Неудивительно, что больше не встрѣчается слѣдовъ второго проекта. Онъ замѣненъ проектомъ раздѣла съ помѣтой 11 сентября 1853 года. Вотъ его существенныя положенія:

Торговая фирма отца переходитъ съ 1 октября 1853 года къ Ивану и Семену Петровичамъ безъ участія въ ней другихъ наслѣдниковъ. Съ 1-го октября и польза и убытокъ касаются всецѣло лишь ихъ однихъ. Наличный товаръ

уступается Ивану и Семену съ уступкой противъ своей цѣны 20 коп. съ рубля: такая большая скидка мотивируется незначительнымъ сбытомъ товара осенью. Долги по документамъ и книгамъ фирма принимаетъ за свой счетъ съ вычетомъ за время по 10% годовыхъ и за рискъ въ пропавшій 25000 руб. съ общей массы долговъ. Все имущество вообще должно быть приведено въ наличную извѣстность. Капиталъ долженъ быть переведенъ въ наличныя деньги, и „остальнымъ пяти наслѣдникамъ надо выдать причитающуюся на cadaго долю въ билетахъ сохранной казны“. Отцовскіе дома и „деревянный“ (фабрику), „старые и ветхіе“, оставить за Иваномъ и Семеномъ за 14000 руб. Старшіе братья, не желая оставлять за собою городскія доходныя лавки, предоставляютъ оцѣнить ихъ изъ 7% и раздѣлить между остальными наслѣдниками по желанію. Движимость предлагается раздѣлить по равной части по общему согласію.

Проектъ раздѣла, одобренный въ принципѣ, встрѣтилъ однако въ подробностяхъ возраженія со стороны моей матери. Изъ 3-й записки, писанной на другой день послѣ 2-й, видно, что мать моя имѣла рѣзкое объясненіе съ Иваномъ Петровичемъ. Она прямо выразилась, что ее хотять обсчитать, и, называя проектъ разорительнымъ, пригрозила, что готова обратиться къ суду. Лавки отцовскія она соглашалась всѣ взять на свою долю, но ее возмущала дешевая оцѣнка домовъ и товара, а также крупная скидка съ векселей.

Въ 3-й запискѣ Иванъ Петровичъ старается успокоить мою мать, не измѣняя ничего существеннаго въ предложеніяхъ. Онъ утверждаетъ, что Сергѣй и Владиміръ выразили уже согласіе на проектъ. Если и кажется, что дома оцѣнены дешево, то надо принять во вниманіе, что они очень ветхи и требуютъ крупнаго ремонта, однако соглашается увеличить оцѣнку до 15000 р.¹⁾ Что касается до скидокъ съ товара и векселей, то онъ указываетъ на сравнительную незначительность этихъ суммъ, вычетъ которыхъ не можетъ быть обременителенъ для наслѣдниковъ, выходящихъ изъ фирмы. Наконецъ, эта послѣдняя записка повторяетъ два раза,

¹⁾ Утвержденіе относительно ветхости домовъ было правильно. Послѣ раздѣла старшіе братья приступили къ ремонту, который имъ обошелся недешево.

что, въ случаѣ несогласія моей матери, ей предлагается оставить за собою все имущество сполна съ тѣмъ, чтобы она взяла на себя выдѣлъ двухъ старшихъ братьевъ, такъ какъ для нихъ будетъ гораздо пріятнѣе получить деньги, а не товаръ и долговые документы. Они смотрятъ на послѣднее какъ на необходимое зло, неизбежное при ихъ намѣреніи продолжать отцовское торговое дѣло.

Условія въ концѣ концовъ были приняты моей матерью, и раздѣлъ состоялся.

Обсуждая основанія этого семейнаго акта, слѣдуетъ, конечно, признать, что старшіе братья себя не обидѣли при расцѣнкѣ отцовскаго имущества, хотя особо преувеличенными ихъ расчеты нельзя назвать. Торговый рискъ всегда долженъ быть принятъ во вниманіе. Это сознавали, надо думать, Сергѣй и Владиміръ, когда давали свое согласіе. Что касается до закулисной стороны дѣла, относительно точной цифры отцовскаго капитала, то это, конечно, дѣло совѣсти старшихъ братьевъ. Никто не зналъ этого и не могъ знать, кромѣ нихъ однихъ. Не обошлось, конечно, безъ злыхъ языковъ, но когда и относительно чего нѣтъ злорѣчія?! Я думаю, если бы были серьезныя основанія для сплетенъ, то я бы объ этихъ основаніяхъ непременно узналъ отъ моей матери. На ея послѣдующихъ отношеніяхъ къ Ивану и Семену невольно отразилось бы затаенное чувство обиды или неприязни. Ничего подобнаго я не замѣчалъ. Она всегда проявляла расположеніе къ Ивану, точно такъ же, какъ и онъ къ ней; къ Семену она, правда, относилась сдержаннѣе, но на это было достаточно и другихъ причинъ. Если братъ Семенъ, умирая, оставилъ впослѣдствіи большой капиталъ, то не слѣдуетъ забывать, что между актомъ семейнаго раздѣла и его кончиной (1884 г.) протекало болѣе тридцати лѣтъ, что онъ долго продолжалъ отцовское торговое дѣло, занимался разными финансовыми предпріятіями и отличался порядочнымъ скопидомствомъ.

Вотъ почему я всегда былъ убѣжденъ, что раздѣлъ отцовскаго наслѣдія произошелъ у насъ на разумныхъ, правдивыхъ и честныхъ началахъ, которыя могли служить образцомъ для многихъ семей, особенно въ то далекое и темное время, когда нравственными принципами поступались очень легко ради корыстныхъ цѣлей.

XXIV.

Раздѣлъ движимаго имущества.

Раздѣлъ движимости происходилъ въ послѣднихъ числахъ декабря 1853 года.

Мнѣ шелъ уже десятый годъ, и я помню довольно отчетливо эти дни. По всему дому ходьба, бѣготня, суматоха; отовсюду несутъ въ парадныя комнаты, какъ на рынокъ, иконы, часы, портреты, картины, бѣлье, серебро, посуду, всякую цѣнную и нецѣнную утварь. У моей матери и старшихъ братьевъ озабоченный видъ; въюномъ вьется между ними шустрый братъ мой Миша. Ему поручено составлять реестръ, и онъ безпрестанно перебѣгаетъ изъ одной комнаты въ другую съ большимъ листомъ въ рукахъ и перомъ за ухомъ. Очевидно, онъ испытываетъ огромное наслажденіе въ сознаніи важности своей миссіи. И я что-то носилъ и, вѣроятно, имѣлъ такой же важный видъ... Инцидентовъ при этомъ никакихъ не было: все прошло въ мирѣ и согласіи.

Разсказываютъ, что при распредѣленіи иконъ мать моя просила уступить ей икону Казанской Божіей Матери, „родительское благословеніе“, особо чтимую моимъ отцомъ. Иванъ Петровичъ соглашался на это, но Семенъ высказалъ сожалѣніе, что родовая святиня будетъ вывезена изъ стараго отцовскаго гнѣзда, и предложилъ кинуть жребій, дабы самой Матери Божіей предоставить незримо высказаться, гдѣ она желаетъ пребывать. Было написано три записки: на мою мать, Ивана и Семена — и жребій выпалъ Семену. Поэтому и поднесъ эта икона находится на старомъ мѣстѣ, во владѣніи потомства Семена Петровича.

1853-го года, на ночь съ 29-го на 30 декабря, мать моя разсталась навѣки съ старымъ отцовскимъ домомъ и переехала въ свой собственный, подаренный ей Петромъ Михайловичемъ одиннадцать лѣтъ тому назадъ. Въ бельэтажѣ, гдѣ уже раньше устроился братъ Сергѣй съ женою, поселилась и моя мать; въ нижнемъ этажѣ помѣстились братья Володя и Миша, послѣдній, впрочемъ, лишь на самое короткое время въ виду своего близкаго отъѣзда въ Петербургъ. Меня устроили въ 3-мъ этажѣ, въ довольно просторной комнатѣ, откуда открывался отличный видъ на Кремль и

на всю Москву, ничѣмъ не уступавшій виду изъ моей прежней дѣтской. Тутъ мнѣ и пришлось провести всю остальную часть дѣтства и отрочества.

Такимъ образомъ, съ наступленіемъ 1854 года двѣ вѣтви нашего семейства раздѣлились безповоротно навсегда. Каждая пошла своей дорогой. Какъ радикально было раздѣленіе, показываетъ слѣдующій эпизодъ. Покамѣстъ мы жили вмѣстѣ, у насъ было принято ѣздить всей семьей въ декабрѣ мѣсяцѣ въ Симоновъ монастырь, на заупокойную обѣдню по отцѣ. Въ 1854 году этотъ почтенный обычай также былъ соблюденъ: всѣ, и старшіе, и младшіе, ѣздили въ Симоновъ, а потомъ съѣхались помянуть отца и отобѣдать въ домѣ матери; зато въ будущемъ году условились съѣхаться въ отцовскомъ домѣ, у старшихъ братьевъ. Однако въ слѣдующемъ году мать моя получила отъ Семена Петровича письмо, въ которомъ онъ писалъ, что соглашеніе между двумя домами насчетъ дня поминокъ можетъ представлять затрудненія, и предлагалъ предоставить всѣмъ свободу рѣшать, когда кому угодно справлять память по отцѣ. Такимъ образомъ было разорвано и это фамиліное звено, которое связывало обѣ линіи потомства моего отца. Остались лишь праздничные визиты и рѣдкія приглашенія на торжества.

Скоро дробленіе пошло еще дальше. Каждый изъ братьевъ зажилъ своей индивидуальной жизнью, не обращая вниманія на другихъ. Выбравши себѣ въ попечители брата Сергѣя, первымъ улетѣлъ далеко Миша. Въ свою записную книжку мать моя записала:

„1854 года, 20 февраля, сынъ Миша уѣхалъ въ Петербургъ по желѣзной дорогѣ. Я цѣлый день проплакала“.

Но слезы не могли помочь: процессъ эволюціи былъ законченъ, старое отцовское гнѣздо распалось безповоротно. Отнынѣ объ общей исторіи нашей семьи не могло уже быть и рѣчи.

К о н е ц ъ .

Приложеніе I.

Кругъ нашего общества въ концѣ 1847 года, при кончинѣ отца.

Въ бумагахъ нашего небольшого семейнаго архива сохранился списокъ лицъ, которымъ были посланы пригласительные билеты на похороны моего отца (27 декабря 1847 г.). Онъ занимаетъ около шести страницъ въ листъ по два столбца и заключаетъ въ себѣ около 400 именъ. По этому списку можно составить себѣ точное представленіе о томъ обществѣ, среди котораго вращался отецъ, такъ какъ въ него вошли не только наши родные и близкіе знакомые, но и множество лицъ, съ которыми мы находились только въ дѣловыхъ сношеніяхъ. Конечно, они принадлежали почти исключительно къ купеческому сословію.

Близкимъ роднымъ и наиболѣе почетнымъ лицамъ приглашенія посылались единолично. Въ другихъ случаяхъ приглашенія адресуются на имя мужа или отца, главы семейства, съ прибавленіемъ словъ: „съ фамиліей“. Это значило, что приглашеніе распространяется на супругу и на дѣтей. Послѣдовательность, въ которой помѣщены въ списокъ имена приглашенныхъ, можетъ служить указателемъ, кто стоялъ ближе къ намъ по родству либо по другимъ связямъ.

Какъ и слѣдовало ожидать, во главѣ списка стоятъ многочисленные представители рода Алексѣевыхъ, но, къ удивленію, самыхъ главныхъ, моей тетки Вѣры Михайловны и ея старшаго сына Петра Семеновича, не упомянуто. Правда, Вѣра Михайловна, страдавшая водянкой, уже давно перестала выѣзжать и пережила отца только на полтора года. Слѣдуетъ думать, что на ея и Петра Семеновича пріѣздъ не рассчитывали, и имъ обоимъ, какъ особо уважаемымъ лицамъ, пригласительные билеты были вручены лично кѣмъ-нибудь изъ моихъ братьевъ. За отсутствіемъ Вѣры Михайловны первое мѣсто занимаетъ Анна Герасимовна, супруга Петра Семеновича, со своими сыновьями и ихъ женами. Затѣмъ слѣдуетъ младшая линія съ Владиміромъ Семеновичемъ во главѣ. Число приглашаемыхъ изъ рода Алексѣевыхъ — 24, всѣ единолично. Между ними находятся и зятя Алексѣевскіе, дворяне Рюминъ, Беклемишевъ, Кисловскій.

Анна Михайловна Зѣвакина со своимъ потомствомъ получила 12 билетовъ. Приглашены, кромѣ нея самой и ея двухъ сыновей съ женами, двѣ ея дочери — вдовы Чурукина и Брюшкова и третья дочь Мазурина съ мужемъ.

8 билетов послано Татьянѣ Михайловнѣ Хлѣбниковой, двумъ ея сыновьямъ, дочери — вдовѣ Чечулиной и дочери послѣдней по мужу Арбатской.

Въ семейство Быковскихъ, котораго старшимъ членомъ была Елизавета Семеновна, рожд. Алексѣева, племянница отца, послано 11 приглашеній: ей, ея сыновьямъ, ихъ женамъ и ея замужней дочери Борисовой съ семействомъ.

9 билетов вручены Протопоповымъ: мужу моей сестры „съ фамиліей“ и родственникамъ мужа.

Пашенковы получили двое по одному билету. Изъ семейства Костроминыхъ упомянуто семь лицъ. Александра Семеновна, рожд. Алексѣева, племянница отца, была вдовой по 2-му мужу, Костромину. Приглашается она, ея сынъ и семья ея дочери отъ перваго брака съ Шелапутинымъ, бывшей замужемъ за Егоровымъ.

Слѣдуетъ Шестовская родня, по женѣ брата Ивана. Всего 23 лица. Сюда вошли, кромѣ Шестовыхъ, Блохины, Борисовскіе, Кашаевы, Лухмановы, Сизаревы.

Изъ родни моей матери приглашены Кобелевы (5 лицъ), Коншины (2), Савельевы, Жеребины, Болдыревы (7).

Перечень родственниковъ еще не исчерпанъ, какъ упоминаются Грачевы (всего 11 билетовъ), семья намъ посторонняя. Единоличныя приглашенія посылаются даже младшимъ членамъ этой семьи, едва вышедшимъ изъ дѣтскаго возраста. Этотъ почетъ долженъ указывать на наличность большихъ дѣловыхъ связей, но вмѣстѣ съ тѣмъ, можетъ-быть, Семенъ Петровичъ уже въ это время намѣчалъ себѣ и невѣсту въ лицѣ старшей дочери Семена Дмитріевича.

Изъ Серебряковыхъ приглашены 5. За Серебряковымъ была сестра первой тещи моего отца Любовь Сергѣевна.

Слѣдуютъ родственники намъ семьи: Марковы (3), Чероквы (3), Хлопонины (2), Рыбниковы (4), Алексѣевы (11), послѣдніе — потомство Василия, брата Семена Алексѣевича, Варенцовы (5), Ремизовы (4).

Въ числѣ приглашенныхъ находятся почти всѣ московскіе городскіе головы первой половины XIX столѣтія или ихъ ближайшая родня. Прежде всего тогдашній городской голова Семенъ Логиновичъ Лепешкинъ (съ 1846 по 1848 годъ) вмѣстѣ со своей родней.

Затѣмъ сынъ бывшаго городского головы Андрея Яковлевича Савельева (1819—1821 гг.) Александръ Андреевичъ, мужъ моей двоюродной сестры Анны Александровны, рожд. Болдыревой, по 2-му мужу Сазиковой.

Поповы, Гавриилъ и Михаилъ Гавриловичи, братья бывшаго въ 1822—24 годахъ городскимъ головой Алексѣя Гавриловича Попова. Они были золотокружевники и жили на Донской улицѣ.

Куманины, Константинъ Алексѣевичъ и Валентинъ Алексѣевичъ, оба бывшіе городскіе головы, первый съ 1825—27 годъ, второй съ 1837—39 годъ.

Мазуринъ, Василий Алексѣевичъ, братъ бывшаго городского головы Алексѣя Алексѣевича (съ 1828—30 годъ), женатый на Зѣвакиной Ольгѣ Андреевнѣ, моей двоюродной сестрѣ.

Колесовы, Иванъ Алексѣевичъ и Алексѣй Ивановичъ. Первый былъ городскимъ головой съ 1834—36 годъ, второй съ 1855—57 г. Послѣдній торговалъ чаемъ.

Три сына покойнаго Александра Васильевича Алексѣева, бывшаго городскимъ головой въ 1840—41 годахъ и въ этомъ званіи умершаго: Григорій, Семенъ и Андрей Александровичи. Также братъ его Иванъ Васильевичъ съ сыновьями. Все это близкая родня нашихъ Алексѣевыхъ, уже упомянутыхъ выше.

О роднѣ Шестова, Андрея Петровича (бывшаго городскимъ головой съ 1843—45 года и скончавшагося въ одинъ годъ съ моимъ отцомъ) упомянуто выше. Онъ былъ дѣдомъ жены моего брата Ивана.

Кирияковъ Клавдій Афанасьевичъ былъ впоследствии городскимъ головой и вышелъ въ отставку въ 1849 году вслѣдствіе столкновенія съ графомъ Закревскимъ. Всѣхъ Кирияковыхъ въ числѣ приглашенныхъ числится четверо.

Въ числѣ приглашенныхъ находятся еще представители слѣдующихъ извѣстныхъ московскихъ купеческихъ родовъ:

Перловы (торговали чаемъ), Боткины (тоже чаемъ), Лепешкины (москотильными товарами), Сорокоумовскіе (мѣха), Астаповы (серебряники), Спиридоновы (дисконтеры), Сазиковы (серебряники), Живаго (военные товары), Малютины, Москвинъ, Усачевы (москотильщики), Матвѣевы (суконщики), Щенковы (шелкъ), Недыхляевы (шелкъ и бумага), Шиловъ, Толоконниковъ (свѣчи), Буркинъ, Рудневы, Клаповскіе, Бахрушинъ Петръ Алексѣевичъ (кожи), Шмагинъ, Болотновы (золотокружевники), Арбузовы (канительщики), Котельниковы, Четвериковы (суконщики), Карцевы, Самгины (колокольный заводъ), Третьяковы (фабриканты въ Серпуховѣ), Крестовниковы (свѣчи), Корзинкины (чайники), Булочкины (мѣнялы), Носовъ (суконщикъ), Гульшинъ, Каретниковъ Алексѣй Фил., впоследствии мужъ моей двоюродной сестры Марьи Александровны Кобелевой; Митрофановы (суконщики), Колокольниковы (парча), Ланинъ, Кувшинниковы (шелкъ, бумага для шитья), Кондрашевъ, Хлѣбниковъ, Лизгуновъ (писчая бумага), Поляковъ, Замятинъ (оба парчевщики), Терновецъ (часовщикъ), Корниловъ (серебряникъ), Макаровы (золотокружевники, мишура), Лихачевъ, Мѣшковъ (оба золотокружевники), Зубовъ (тоже), Владиміровъ (Ветошной рядъ), Ломовы (мѣха), Барковъ (жельзо), Игумновъ (фабрикантъ), Протопоповъ Алексѣй Степановичъ (свѣчи), Полетаевъ (серебряникъ), Лихачевъ (золотокружевникъ), Шемшурины, Смирновы (галантерея), Тряпкинъ.

Пропускаю десятка три русскихъ именъ совершенно неизвѣстныхъ.

Въ число приглашенныхъ занесены чуть ли не всѣ прихожане церкви Св. Іоакима и Анны: семейство Толь (дворяне), Прохоровы, Смольянская, Оконнишниковы (мануфактурный товаръ), Сидоровъ, Засыпкинъ, Кочетковъ (писчая бумага) и т. д.

Цѣлая серія нѣмецкихъ именъ: Блумбергъ, Крафтъ (торговля на старомъ Гостиномъ дворѣ), Купферъ, Мейеръ, Матіасъ (шелкъ),

Шульцъ (биржевой маклеръ), Кронебергъ, Леонгардъ, Ментель (брильянты), Бернгардъ, Бранденбургъ, Беренсъ, Колли, Эйхтмейеръ.

Группа восточныхъ людей: Хожогло, Деньжогло, Буба, Кетху-довъ, Истамановъ, Агамжаловъ, Пирадовъ (маклеръ). Большинство изъ нихъ — наши покупатели. Армянина Пирадова, Авета Ивановича, я помню, потому что несчастнаго нельзя было не запомнить, если разъ увидишь: онъ былъ просто страшенъ своей непомерной толщиной и красными глазами навыватъ.

Въ числѣ приглашенныхъ была наша старая гувернантка Александра Егоровна Иванова, учитель танцевъ Н. П. Линдротъ, врачи: Кораблевъ Герасимъ Ивановичъ, Вертесъ Дмитрій Христофоровичъ и Тихомировъ Евдокимъ Ивановичъ, также аптекаръ Полянскій аптеки Зенгеръ Карлъ Петровичъ.

Наконецъ своеобразными гостями въ духъ времени были: Васильевъ Николай М. — частный приставъ, и Саввинъ Иванъ В. — квартирный.

Приложение II.

Цифра годового оборота нашей фабрики въ 1853 году.

Въ „Статистическомъ Обзорѣни промышленности Московской губернии“, составленномъ Ст. Тарасовымъ (М. 1856 г.), помѣщена Вѣдомость за 1853 годъ, по которой (на стран. 55) значится въ Москвѣ, въ числѣ 27 фабрикъ золотопрядильныхъ мишурныхъ и канительныхъ, фабрика: „Вишнякова Петра Михайлова, почетнаго гражданина, Якиманской ч., 6 квартала, въ соб. д., № 579; число рабочаго народа: пряхъ 60; сумма годового производства 166000 руб. Производятся: волока, шарфы и эполеты мишурные“. По этой-же Вѣдомости на фабрику Алексѣева Владиміра Семенова, почетнаго гражданина, работают 155 рабочихъ; годовое производство на 500000 руб.; производятся: пряженое золото, серебро, бить, мос-сивъ, плетенка, серебро плетеное съ позолотою и проч. — Алексѣевская фабрика — самая большая по обороту; за ней слѣдуетъ фабрика Сытовыхъ съ производствомъ на 200000 руб., а третье мѣсто принадлежитъ нашей фирмѣ.

Фототипіи, приложенныя къ 3-й части:

1. Родовая икона Казанской Божіей Матери, «родительское благословеніе», Петра Михайловича Вишнякова. См. ч. II, стран. 38 и 46, ч. III, стран. 154 (противъ заглавія).

Снимки съ дагерротиповъ 1850-хъ годовъ:

2. Анна Сергѣевна Вишнякова съ младшимъ сыномъ Николаемъ (стран. 16).
3. Иванъ Петровичъ Вишняковъ (стран. 28).
4. Семенъ Петровичъ и Ольга Семеновна Вишнякова (стран. 31).
5. Александра Николаевна Вишнякова (стран. 37).
6. Елизавета Ивановна Вишнякова (стран. 69).
7. Сергѣй и Владиміръ Петровичи Вишняковы (стран. 72).
8. Михаилъ Петровичъ Вишняковъ (стран. 135).
9. Карлъ Ивановичъ Штетке (стран. 120).

Снимокъ съ фотографіи:

10. Владиміръ Семеновичъ Алексѣевъ (стран. 77).

Рисунки Гр. Ө. Ярцева:

11. Старая бесѣдка (стран. 54).
12. Домъ Анны Сергѣевны Вишняковой (стран. 154).

СОДЕРЖАНІЕ.

	<i>Стран.</i>
Вмѣсто вступленія	6
I. Духовное завѣщаніе моего отца	7
II. Отцовскій домъ	10
III. Къ характеристикѣ моей матери	16
VI. Няня Раида Николаевна	24
V. Мои старшіе братья Иванъ и Семенъ. — Характеристика ихъ. — Контора и ея обитатели	26
VI. Братья Володя и Миша. — Шалости. — Похороны Гоголя. — Пожаръ Большого театра. — Мой другъ Гекторка. — Александра Николаевна. — Кое-что изъ нравовъ добраго стараго времени	33
VII. Общій строй нашей жизни. — Религіозность. — Посѣщеніе церквей	40
VIII. Флѣнушка	47
IX. Домашняя гигиѣна и медицина	50
X. Отцовскій садъ	53
XI. „На монастырѣ“. — Слободка на „Канавѣ“. — Каменные мосты. — Александровскій садъ. — Наша лавка въ золотокружевномъ ряду. — „Торговая казнь“	57
XII. Гулянья подъ-Новинскимъ и въ Сокольникахъ. — Поѣздки въ Нескучное. — Впечатлѣнія первой загородной поѣздки	61
XIII. Отъѣздъ на Нижегородскую ярмарку. — Визитъ татаръ. — Паисій Ивановичъ Цѣлованьевъ	65
XIV. Женитьба брата Семѣна. — Женитьба брата Сергѣя. — Семья Борисовыхъ	68
XV. Родственные отношенія: Протопоповы, Пашенковы-Тряпкины, Алексѣевы, Зѣвакины, Хлѣбниковы, Коншины, Кобелевы, Волдыревы	73
XVI. Положеніе купечества въ ряду другихъ сословій	87
XVII. Графъ Закревскій и его время	99
XVIII. Няня учитъ меня грамотѣ. — Первая моя литература. — Соціальныя недоумѣнія. — Четыи Минеи. — Крѣпостныя идилии. — Патріотическіе стихи начала Крымской войны	112
XIX. Я начинаю учиться по-нѣмецки	118
XX. Карлъ Ивановичъ Штетке, біографическій очеркъ	120

Стран.

XXI. Переписка братьевъ съ матерью съ Нижегородской ярмарки отъ 1848 по 1853 годъ	138
XXII. Передъ раздѣломъ	147
XXIII. Проекты раздѣла	149
XXIV. Раздѣлъ движимаго имущества	154

ПРИЛОЖЕНІЯ.

А. Кругъ нашего общества въ концѣ 1847 года, при кончинѣ отца	159
В. Цифра годоваго оборота нашей фабрики въ 1853 году. 162	

Замѣченныя опечатки:

Стран.	Строка.	Напечатано:	Должно быть:
23	4 снизу	1855	1850
"	3 "	45	42
48	3 сверху	бывало	бываль
55	2 снизу	ещео	еще о
"	25 сверху	посовѣтывала	посовѣтовала
58	4 снизу	пыли	были
81	23 сверху	не нея	нея не
83	16 снизу	Андревича	Андреевича
92	7 сверху	дочь	дочь
95	5 "	которое	который
113	15 "	Карбитьевна	Кирбитьевна